

Виктор Алеветдинов

Скажи
это до конца

Виктор Алеветдинов

Скажи это до конца

«Автор»

2026

Алеветдинов В.

Скажи это до конца / В. Алеветдинов — «Автор», 2026

Май возвращается в приморский город Касуми, чтобы разобрать мастерскую умершей бабушки и как можно скорее уехать. Но старый храм Юки, цветущая сакура и треснувшие вещи из прошлого не собираются отпускать ее так легко. Рэн Амаги, художник вебтунов, приезжает в Касуми за красивой историей о последнем цветении. Май уверена: чужую боль нельзя превращать в романтические кадры. Но когда они вместе касаются старой таблички эма, сакура показывает им чужое незавершенное признание. Семь лепестков. Семь историй любви. Семь фраз, которые когда-то не успели прозвучать. Возвращая людям их несказанные слова, Май и Рэн всё ближе подходят к собственной правде. Но можно ли признаться в любви, если боишься стать для другого причиной остаться? И что важнее — уйти вовремя или наконец сказать до конца?

© Алеветдинов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Акт I. Первый лепесток	5
Глава 1. Возвращение в Касуми	5
Глава 2. Мастерская несказанных слов	9
Глава 3. Легенда о семи фразах	15
Глава 4. Первая чужая любовь	21
Глава 5. Чай, моти и чужой зонт	27
Глава 6. Отец Май и решение о сносе	33
Глава 7. Второй лепесток	40
Глава 8. Первый поворот чувств	46
Акт II. Чужие признания	52
Глава 9. Правило совместного расследования	52
Глава 10. Третья фраза: девушка из метро	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Скажи это до конца

Акт I. Первый лепесток

Глава 1. Возвращение в Касуми

Поезд опоздал на двадцать семь минут, и Май успела трижды пожалеть, что не выбрала утренний рейс.

Когда двери наконец разъехались, на платформу хлынул влажный воздух Касуми — солёный, тёплый, с запахом кофе из вокзального киоска и цветущей сакуры. Май вышла последней, прижимая локтем папку с документами и таща за собой чемодан. Колесо сразу попало в стык плитки и заскрипело так жалобно, будто город узнал её и решил начать разговор с упрёка.

Под навесом над путями висел розовый дождь. Лепестки летели не красиво, как на рекламных открытках, а беспорядочно: липли к мокрым перилам, забивались в щели у автоматов с напитками, цеплялись за чужие волосы и рукава. Один лёг Май на пальто, прямо у плеча. Она резко стряхнула его; лепесток не упал сразу, смялся под пальцами и только потом скользнул вниз, оставив на тёмном сукне маленькое влажное пятно.

— Осторожнее, — пробормотала проходившая мимо женщина с сумкой, решив, наверное, что Май едва не толкнула её.

Май коротко поклонилась и не стала объясняться.

У выхода её встретил шум турникетов: пикали проездные карты, кто-то ругался в телефон из-за задержки, ребёнок тянул мать к витрине с клубничными дайфуку, из кофейни у стены тянуло молотыми зёрнами и тёплым молоком. Всё было почти таким же, как шесть лет назад, это раздражало. Бабушки больше не было. Мастерская стояла закрытой. Дом отца давно перестал быть домом. А вокзал Касуми всё так же пах дождём, кофе и мокрой сакурой, будто время здесь умело чинить только вывески и расписания.

Май плотнее прижала к себе папку. Внутри лежали бумаги на мастерскую, акт оценки имущества, письмо из столичной галереи и ключ, который нотариус передал ей в маленьком конверте с сухой формулировкой: «имущество покойной Сиракавы Ёрико». Слово «покойной» всё ещё выглядело неправильно, словно кто-то поставил его поверх бабушкиного имени чужой рукой.

У главного выхода толпа замедлилась перед большим плакатом, натянутым на металлическую раму. Май сначала увидела розовые ветви на белом фоне, потом крупные иероглифы, аккуратные и чересчур праздничные: «Последнее цветение старой сакуры храма Юки. Фестиваль ханами. Не пропустите прощальную весну».

Прощальную. Слово было напечатано мягким золотым цветом, будто от этого становилось менее жестоким. На фотографии старая храмовая сакура раскинула ветви над каменными ступенями. В детстве Май казалось, что дерево растёт прямо из неба и лишь из вежливости касается корнями земли. Бабушка водила её туда весной, давала держать кисточку, пока сама переписывала выцветшие таблички эма. Май помнила запах дерева, туши и бабушкиного крема для рук. Помнила, как лепестки застревали в волосах. Помнила, как однажды плакала под этой сакурой так долго, что голос сел.

На улице дождь ослаб, но не прекратился. У стоянки такси мигали красные огни, старый трамвай на площади звякнул колокольчиком, и звук знакомо прошёл по Май, почти физически. Она сделала шаг к выходу — и чемодан снова дёрнулся, застряв колесом в неровной плитке.

— Конечно, — тихо сказала Май. — Начнём с этого.

Она наклонилась, чтобы высвободить колесо, и в этот момент кто-то перед ней резко отступил назад. Удар вышел не сильным, но точным: папка выскользнула из-под локтя, чемодан качнулся, а тонкий чёрный планшет в чужих руках полетел вниз, стукнулся углом о мокрую плитку и скользнул к краю лужи.

— Ай, мой драматический реквизит, — сказал мужской голос.

Май успела подхватить папку, но несколько листов всё равно высыпались наружу. Незнакомец присел почти одновременно с ней. У него были длинные пальцы, испачканные чёрной краской у ногтя большого пальца, и светлая куртка, на которую лепестки налипли так густо, будто он стоял под деревом специально.

— Простите, — сказала Май автоматически.

— Я тоже виноват. Обычно я не отступаю в людей, только в дедлайны.

Она подняла глаза. Мужчина был чуть старше её: тёмные влажные волосы падали на лоб, взгляд быстрый, внимательный, с той неприятной привычкой художников замечать больше, чем им разрешали. Он улыбался так, будто извинение уже превратил во вступление к разговору. Май не любила такие улыбки.

— Ваш планшет, — сказала она.

Планшет лежал экраном вверх. Трещины, к счастью, не было, изображение ещё светилось: вокзальная площадь, сакура, мокрый воздух, девушка в тёмном пальто с чемоданом у ноги. Лицо не прорисовано до конца — только линия подбородка, короткие пряди у виска и рука, резко стряхивающая лепесток с плеча. Похоже было не настолько, чтобы обвинить. И недостаточно, чтобы стало неприятно.

Незнакомец заметил её взгляд и поднял планшет чуть быстрее, чем нужно.

— Вы вошли в кадр чересчур драматично.

Май сложила выпавшие документы в папку, выровняла углы листов и только потом ответила:

— Тогда сотрите кадр.

Улыбка у него не исчезла, но стала осторожнее.

— Обычно люди просят сделать их красивее.

— Обычно люди спрашивают разрешения, прежде чем превращать чужое лицо в фон.

— Там ещё нет лица.

— Значит, вам повезло.

Она потянулась за стилусом, закатившимся к её ботинку. Он тоже протянул руку. Их пальцы столкнулись над тонкой белой палочкой, касание длилось меньше секунды, но Май всё равно отёрнула руку первой. Он — почти одновременно, только не совсем. На его пальце остался розовый лепесток, мокрый и прозрачный по краям. Он посмотрел на него так внимательно, будто это был не грязный лепесток с вокзальной площади, а подсказка.

Май подняла стилус и протянула ему.

— Держите. И лучше смотрите под ноги.

— Рэн Амаги, — сказал он, принимая стилус.

Она моргнула.

— Я не спрашивала.

— Я заметил. Поэтому сказал сам, пока вы не решили, что я просто человек, который профессионально мешает людям у выхода с вокзала.

— Разве нет?

— Временами. Но сегодня я художник вебтунов.

Это объясняло планшет, краску на пальцах и самоуверенность. Не объясняло, почему он рисовал её.

— Поздравляю, — сказала Май. — Надеюсь, город даст вам достаточно красивой боли для работы.

Слова вышли резче, чем она рассчитывала. Рэн чуть склонил голову и впервые не пошутил сразу. В его взгляде промелькнуло что-то задетое — не обида, скорее точное попадание в место, которое он не собирался показывать.

— Красивой боли не бывает, — сказал он тише. — Бывает удачный ракурс.

— Тем хуже.

Она взялась за ручку чемодана и обошла его.

— Вы из Касуми? — спросил он ей вслед.

Май не остановилась.

— Нет.

Ложь прозвучала быстро.

Трамвай на площади снова звякнул. Май ускорила шаг, хотя чемодан бился о неровности мостовой, а дождь снова усиливался. За спиной Рэн что-то поднял с земли — может, свой чехол, может, чужой листок. Она не обернулась.

На остановке старого трамвая люди прятались под узким навесом, но Май прошла мимо. Мастерская находилась в старом квартале, у подножия храмового холма. Такси довезло бы быстрее, трамвай — медленнее, но пешая дорога давала ей хотя бы иллюзию контроля: каждый поворот можно было выбрать самой.

Касуми не помогал. Улица от вокзала шла вниз, потом резко забирала к торговым рядам. Вывески изменились, но не настолько, чтобы стереть прежние маршруты. На углу всё ещё продавали жареные каштаны в бумажных пакетах. Рыбная лавка сменила владельца, но деревянная скамья у входа осталась та же. На перилах моста висели новые фонари, ещё не зажжённые, с эмблемой фестиваля: ветка сакуры и семь падающих лепестков. Май отвела взгляд.

К тому времени, как она дошла до мастерской, дождь почти закончился. Вечерний свет лежал на улице тусклыми серо-золотыми полосами, отражаясь от мокрой черепицы. Мастерская бабушки пряталась между чайной лавкой и домом с закрытыми ставнями. Под навесом висела потемневшая вывеска: «Сиракава. Реставрация керамики и храмовых табличек».

Май остановилась перед дверью. Просто дверь, которую нужно открыть, вещи, которые нужно разобрать, коробки, которые нужно подписать, и помещение, которое через две недели можно будет передать новому владельцу или закрыть окончательно.

Она достала ключ. К нему была привязана красная кисточка — выцветшая, немного распрямленная. Бабушка любила такие ненужные детали. Говорила, что ключ без кисточки легко потерять, как человек без памяти — легко оправдать.

Металл в замке повернулся не сразу. Май пришлось нажать плечом на дверь, и та подавалась с тихим деревянным стоном. Внутри пахло пылью, рисовой бумагой, сухой глиной и чем-то ещё — слабым, сладковатым, похожим на старый чай.

Май переступила порог и не включила свет. Сначала просто стояла. С улицы через мутное стекло падало вечернее сияние. В нём мастерская казалась не заброшенной, а затаившейся. На полках рядами стояли чашки с трещинами, блюда, фрагменты ваз, коробки с кистями и баночки с минеральными порошками. У стены лежали связки старых эма, перевязанные хлопковой лентой. На рабочем столе бабушки — пинцет, мягкая ткань, лупа, маленькая керамическая лопатка. Всё было разложено так аккуратно, будто Ёрико Сиракава вышла на минуту и сейчас вернётся, недовольно спросит, почему внучка стоит в дверях в мокром пальто.

Май сняла обувь и прошла внутрь. Старая занавеска у окна шевельнулась от сквозняка. В стекле отразилась она сама: дорожная усталость под глазами, влажные волосы у висков, пальто в розовых пятнах от лепестков. Не человек, который приехал закрывать дела. Скорее та, кто чересчур долго откладывал возвращение и всё равно опоздал.

— Не начинай, — сказала она собственному отражению. Тишина не ответила.

Май поставила чемодан у стены, положила папку на стол и сняла пальто. Из кармана выпало что-то белое. Стилус.

Не её. Она подняла его двумя пальцами, как улику. Должно быть, после столкновения у вокзала машинально сунула вместе с ручкой в карман, пока собирала документы. Рэн Амаги, художник вебтунов, теперь остался без стилуса. Эта мысль почему-то принесла не удовлетворение, а раздражающую неловкость.

Май положила стилус на край стола, потом передвинула чуть дальше, чтобы не видеть.

Она нашла пустые коробки, раскрыла одну и написала на боку: «керамика. осмотр». Почерк вышел ровный, почти чужой. Май достала перчатки, но не надела сразу. Провела пальцем по столу — на коже осталась серая пыль. Бабушка никогда не позволила бы пыли лежать на рабочем месте. Значит, последние недели она уже не приходила сюда. Или приходила и не могла работать. Эта мысль оказалась тяжелее, чем Май ожидала.

Она надела перчатки. Первой в руки попала небольшая чашка, накрытая рисовой бумагой. Май осторожно сняла лист. Под ним блеснул золотой шов кинцуги — тонкий, неровный, идущий от края к основанию. Чашка была старой, с молочной глазурью, потемневшей у кромки. Трещина пересекала её так заметно, что другой мастер, возможно, отказался бы восстанавливать форму. Бабушка не отказалась.

Май повернула чашку к свету. Золото в шве вспыхнуло мягко, будто в нём задержался последний луч с улицы. На миг ей показалось, что керамика теплее, чем должна быть. Она сняла одну перчатку и коснулась края. Тепло не исчезло.

Где-то за окном проехал трамвай, но звук донесся глухо, словно сквозь воду. Занавеска шевельнулась, хотя дверь была закрыта. Один розовый лепесток, неизвестно как попавший внутрь, скользнул по подоконнику и упал на стол рядом с чашкой.

Май замерла. В мастерской стало совсем тихо — не пусто, а именно тихо, как перед словами. Она хотела убрать руку, но пальцы не послушались. Золотой шов под пальцами будто дрогнул. В воздухе пахло весенним дождём, потом тушью, старым деревом и влажным рукавом мужского хаори.

И голос произнёс:

— Я ждал тебя каждую весну.

Чашка выскользнула из рук. Май дёрнулась и поймала её у самого края стола, ударившись костяшками о дерево. Резкая боль пришла сразу. Чашка осталась целой. Золотой шов спокойно блестел в вечернем свете.

Май стояла, согнувшись над столом, и слушала собственное дыхание. В мастерской никого не было. На улице кто-то засмеялся, хлопнула дверь чайной лавки, проехал велосипед. Обычные звуки вернулись громко, как после того, как ухо отпустило давление.

Она медленно поставила чашку на стол.

— Усталость, — сказала Май вслух.

Слово прозвучало разумно. Она посмотрела на папку с документами, коробки, пыль, чужой стилус у края стола. Потом снова на чашку. Лепесток рядом с ней лежал неподвижно, мокрый по краям, розовый почти до прозрачности.

Май протянула руку, чтобы выбросить его, но не смогла. Вместо этого села на старый табурет бабушки и впервые за весь день позволила себе не делать ничего: не собирать бумаги, не закрывать замки, не объяснять себе, что голоса не звучат из чашек, что города не помнят, что мёртвые мастерские не ждут возвращения.

За окном зажглись первые фонари. Их свет лёг на золотой шов тонкой дрожащей линией, и Май вдруг подумала: Касуми встретил её не ностальгией, а фразой, которую кто-то так и не успел договорить.

Глава 2. Мастерская несказанных слов

Утром мастерская пахла мокрым деревом и старой бумагой. Май проснулась за рабочим столом: щека прилипла к рукаву, на запястье отпечатался край списка — «упаковать инструменты», «проверить документы», «выбросить треснутые формы». Последний пункт был перечеркнут так резко, будто не ее рукой.

На полу лежала чашка с золотым швом. Май помнила, как ночью фарфор выскользнул из пальцев, как в тишине кто-то сказал: «Я ждал тебя каждую весну», и как она поймала чашку у самого пола — чересчур быстро, почти невозможно. При утреннем свете всё выглядело объяснимо: дорога, сырость, город, который вернулся под кожу. Она поставила чашку на дальнюю полку и отвернулась, будто вещь могла заметить взгляд.

В дверь постучали три раза — не настойчиво, а так, словно человеку обещали, что его впустят, но он оставлял право не открывать сразу. Май одернула рубашку, стряхнула с рукава бумажную пыль и сказала:

— Мастерская закрыта.

За дверью помолчали.

— Тогда я пришел не в мастерскую, а к внучке Сиракавы Хару.

Май не сразу повернула ключ. Имя бабушки прозвучало спокойно, без той осторожной жалости, от которой у нее сводило скулы. На пороге стоял настоятель храма Юки: невысокий, сухой, в сером рабочем хаори, с несколькими лепестками на плечах. В руках у него была связка старых эма: потемневшее дерево, выцветшие шнуры, пятна от дождя, тонкие трещины. На одних еще держались имена и просьбы; на других текст расплылся так, будто дерево само пыталось забыть.

— Я не ждала гостей.

— Знаю. Ваша бабушка тоже обычно не ждала, но чай всё равно ставила заранее.

Май посмотрела на пустой чайник у раковины. Это раздражало сильнее, чем должно было.

— Бабушка умерла, — сказала она ровно. — И я приехала не продолжать ее работу. Я приехала разобрать мастерскую.

Настоятель кивнул, снял обувь у порога и поставил связку эма на стол как тяжелую хрупкую вещь. Шнуры тихо стукнули о дерево, и Май почувствовала этот звук в кончиках пальцев.

— Перед переносом святилища нужно разобрать старые таблички. Те, что можно сохранить, уйдут в архив. Те, что совсем разрушены, мы предадим огню. Хару-сан обещала помочь.

— Бабушка много кому обещала помочь.

— Да. Поэтому у нее в мастерской всегда не хватало места.

Он оглядел полки и коробки с керамикой — не с любопытством, а с узнаванием. Май скрестила руки на груди.

— Я не реставрирую желания.

— А что вы реставрируете?

— Предметы.

— Предметы редко ломаются одни.

Она хотела ответить сухо, но в горле встал вчерашний голос из чашки. Май взяла верхнюю табличку. На ней был нарисован кролик в школьной форме, а рядом еще читалось: «Пусть он заметит...» Дальше дождь стер всё до серого пятна.

— У них нет ценности, если текст не читается.

— Для архива — может быть. Для человека — не всегда.

— Человека уже может не быть.

Настоятель провел пальцем рядом с надписью, не касаясь ее.

— Некоторые слова живут дольше тех, кто их не произнес.

Фраза прозвучала чересчур близко к ночной. На дальней полке чашка с золотым швом будто пряталась вместе с Май.

— Красиво, — сказала она. — Для храмовой брошюры подойдет.

— Для брошюры городская администрация наняла другого человека.

— Художника?

— Говорят, художника вебтунов.

Май вспомнила планшет на вокзале, черный стилус у своих пальцев и чужую улыбку: «Вы вошли в кадр чересчур драматично». Она положила эма на стол чуть громче, чем требовалось.

— Тем более вам не нужна я. Пусть он нарисует таблички красивее, чем они есть.

— Красивее — не значит бережнее.

За окном прошел старый трамвай. Стекла мастерской дрогнули, на подоконнике шевельнулась пыль. Май посмотрела на перечеркнутое «выбросить треснутые формы» и выдохнула.

— Я могу выделить вам два часа. Составлю список повреждений и условий хранения. Не больше.

Настоятель поклонился.

— Хару-сан тоже всегда начинала с двух часов.

— Я не бабушка.

— Конечно. Сегодня у старой сакуры храма Юки упал первый крупный цвет. Обычно после этого она начинает отдавать то, что хранила.

Май заставила себя усмехнуться.

— Деревья ничего не отдают. Они цветут, болеют, сохнут и падают. Иногда на людей, если их вовремя не спилить.

Сказав это, она услышала в своей интонации отца и отвернулась к шкафу за перчатками. Настоятель промолчал, и это было хуже, чем если бы он возразил.

Когда Рэн поднялся к храму Юки, город уже проснулся, но еще не перешел в дневную суету. На середине лестницы он снял не храм, а чужой зонт у перил: черный, с отломанной спицей, с тремя лепестками на куполе. «Последняя сакура Касуми», — напомнил он себе. Не «умирающее дерево», не «городской контракт». История должна была начинаться мягче.

На планшете вспыхнул вчерашний набросок: девушка с чемоданом под розовым дождем, лицо не прорисовано, но линия подбородка уже выдавала упрямство. Рэн поморщился и выключил экран.

У ворот храма служака попросил его подождать у бокового павильона. Рэн показал пропуск: «Амаги Рэн, визуальный автор проекта “Последнее цветение”». Пластиковая карточка с QR-кодом висела на груди красивым доступом к чужой памяти. Он сделал несколько кадров: каменный лис, ящик для пожертвований, мокрые веревки с эма. Над всем этим поднималась старая сакура: темная кора расходилась трещинами, кое-где ее держали подпорки, но цветы сидели так густо, будто дерево не слышало заключений ботаников. Рэн поднял камеру.

— Не снимайте ее снизу, — сказал за спиной женский голос. — Так трещины не видны.

Он застыл на полунажатой кнопке. У павильона стояла девушка с вокзала — сегодня без чемодана, с низко собранными волосами, в темной рубашке и перчатках. В одной руке деревянная эма, в другой карандаш. Вчера она была случайной прохожей. Теперь — частью места.

Рэн опустил камеру.

— Доброе утро. Хотя для нас это уже второй сезон.

— Для меня это второе нарушение границ за сутки.

— Я пришел по пропуску.

— Пропуск не делает историю вашей.

Улыбка не успела закрепиться. Рэн посмотрел на карточку на своей шее, потом на табличку в ее руке.

— Вы работаете при храме?

— Я завершаю обещание бабушки.

— Сиракава Хару была вашей бабушкой?

Рэн знал это имя: Хару-сан чинила то, что другие выбрасывали. Май крепче сжала карандаш.

— А вы уже успели собрать обо мне справку?

— Нет. Только о мастерской.

— Удобная разница.

На столе под навесом лежали связки эма, ярлыки и коробки для сортировки. Таблички были разложены не по красоте и не по возрасту, а по состоянию дерева, шнура и читаемости надписей. Очень аккуратно. Почти сердито.

— Вы тот самый художник вебтуна?

— Смотря каким тоном произнести «тот самый».

— Тем, который уже есть.

Рэн положил пропуск на край стола.

— Город заказал серию о храме, сакуре и фестивале. Я хочу не рекламную открытку, а нормальную историю. Для этого нужен доступ к архиву, людям, вещам.

— Вещи не обязаны становиться материалом.

— А если иначе их просто выбросят?

Она резко повернулась.

— Вы опять вошли в чужую историю без стука.

Фраза ударила точнее, чем он ожидал. Обычно у Рэна нашлась бы шутка про плохо воспитанных художников или про стук, который портит темп драматургии. Сейчас ни одна не подошла. Он увидел не только раздражение Май, но и ночь без сна, мастерскую, запах умершего человека в вещах. А сам со своей камерой, планшетом и пропуском действительно выглядел человеком, который пришел за удачным ракурсом.

Рэн медленно убрал камеру в сумку.

— Вы правы.

Май моргнула, будто готовилась к спору и не сразу поняла, куда поставить ответ.

— Это не значит, что я уйду, — добавил он. — Контракт я подписал. Но могу не снимать, пока вы не скажете, что можно.

— Я не имею права разрешать вам храм.

— Тогда разрешите хотя бы не мешать вам с табличками.

Она посмотрела на его руки, планшет, пропуск, потом на сакуру.

— Не трогайте поврежденные. Не фотографируйте имена крупным планом. Не задавайте настоятельно вопросов, пока он молчит. И если я скажу убрать камеру — убираете.

Она подняла бровь. Рэн понял, что любая шутка сейчас будет защитой, и кивнул без улыбки.

— Уберу.

— Тогда начните с простого. Держите шнур, пока я снимаю ярлык.

Расстояние между ними стало рабочим — не дружеским, не доверительным, но уже не вокзальным. Между их локтями лежали старые таблички, чужие просьбы и карандашная пыль.

Старая эма с размытым иероглифом дождя нашлась ближе к полудню. К этому времени Май успела дважды пожалеть, что позволила Рэну остаться, и один раз подумать, что он оказался полезным: он не трогал поврежденное дерево, не фотографировал имена и замечал следы, которые она пропускала.

— Эта табличка висела ниже остальных, — сказал он, показывая на потертость у края.
— Грязь не сверху, а сбоку. Ее часто задевали руками.

— Или она лежала в коробке.

— Тогда шнур был бы сплюснен.

Май проверила. Шнур действительно сохранил форму узла, и ей почти захотелось улыбнуться. Почти — не считалось.

Настоятель оставил им чай и ушел к прихожанам. Под навесом стало тише. Цветы ложились на стол, коробки, темные рукава Май. Она стряхивала их каждый раз.

— Они вам мешают? — спросил Рэн.

— Попадают под клей.

— Вы сейчас ничего не клеите.

— Привычка.

Он хотел сказать что-то еще, но промолчал. Хорошо.

Май взяла следующую связку. Дерево в ней было старше остальных: темное, с глубокими порами, пахло дождем и чем-то школьным — влажной формой, мелом, железными воротами после ливня. Одна табличка держалась на почти перетертом шнуре. На лицевой стороне тушь растеклась, оставив иероглиф, похожий на распахнутый зонтик.

— Дождь, — сказал Рэн.

— Я вижу.

— Нет, я не для атмосферы. Здесь старый вариант знака. Его редко пишут так в школьных просьбах.

Май провела лупой над линией. Под расплывшимся пятном угадывались две короткие вертикали — возможно, начало имени.

— Не трогайте, — сказала она, хотя Рэн еще не двигался.

Она взяла табличку за край. С ветки над навесом сорвался лепесток и опустился ей на руку. Май попыталась стряхнуть его большим пальцем, но розовая кожица будто впиталась в ткань перчатки.

— Подождите, — сказал Рэн. — Вы порвете.

— Это лепесток.

— Он держится так, будто у него контракт.

Он потянулся к ее руке. Май хотела отдернуть пальцы, но Рэн коснулся только края перчатки. Его ладонь была теплой даже через ткань. В этой точке табличка под другой рукой стала горячей — как чашка, в которую только что налили чай. Май резко вдохнула.

Навес исчез. Сначала пришел звук дождя — не нынешнего, а весеннего, школьного. Капли били по жестяному козырьку ворот, стекали по черным прутьям, дробили отражение двора в лужах. Воздух пах мокрым мелом, кожаными портфелями и сладкой булочкой с фасолью. Май была у школьных ворот. Нет, не была — видела.

Перед воротами девочка в темно-синей форме держала закрытый зонтик. Челка прилипла ко лбу, белые носки забрызганы водой. По другую сторону дорожки мальчик никак не мог застегнуть сумку.

— Ты опять без зонтика, — сказала девочка.

— Я думал, успею до ливня.

— Ты всегда так думаешь.

Она раскрыла синий зонтик с починенной спицей у края. Купол дернулся от ветра, и девочка перехватила ручку обеими руками. Мальчик сделал шаг ближе, потом остановился.

— Мне до станции всего пять минут.

— Я тоже иду к станции.

— Но твой дом в другой стороне.

Девочка опустила глаза. На ручке зонта ее пальцы побелели. Май почувствовала чужую неловкость так остро, будто сама стояла под дождем и собирала во рту слова, чересчур большие для школьного горла.

— Я... — начала девочка.

Мальчик ждал. Дождь бил по зонту, лужам, крыше сторожки.

— Я хотела...

Ветер налетел со стороны двора. Лепестки сакуры, прибитые дождем к земле, поднялись; один прилип к щеке девочки. Она засмеялась — коротко и испуганно. Мальчик протянул руку, но не коснулся ее лица.

— У тебя лепесток.

— Знаю.

— Снять?

— Если хочешь.

Он осторожно снял лепесток с ее щеки, и в этот момент девочка почти сказала. Май слышала, как фраза подходит к краю, как меняется дыхание перед главным словом.

— Я хотела идти под одним зонтом не потому, что...

Звон храмового колокольчика разрезал дождь. Картинка дернулась. Школьные ворота растворились в белом свете, дождь стал шумом листвы, зонт — темным пятном. Последними остались ее пальцы на ручке: крепко и чересчур поздно.

Май очнулась под навесом. Рэн держал ее за руку — не сильно, просто не успел отпустить. Лепесток всё еще был между его пальцами и ее перчаткой, но теперь легко отделился и упал на стол рядом с эма. На старом дереве проступила тонкая влажная линия, будто по табличке только что прошла капля дождя.

Перед глазами стояли школьные ворота, синий зонт, девочка, не договорившая фразу. Рэн молчал, и это было самым неправильным. Исчезли легкая улыбка и взгляд художника, который уже превращает пережитое в кадр; он был бледнее обычного, а пальцы чуть дрожали.

Май поняла, что его рука всё еще касается ее руки, и отдернула свою чересчур резко.

— Извините, — сказал он сразу.

— За что?

— Не знаю. За руку. За... — Он посмотрел на табличку и не договорил.

На крыше павильона зашуршали цветы. Мир продолжал двигаться так, будто ничего не произошло.

Май сняла перчатку. На указательном пальце остался слабый розовый след — не краска и не пыльца, скорее тень от лепестка. Она потерла кожу, но след не исчез.

— Май...

Ее имя прозвучало осторожно. Так можно было позвать человека, который стоит у края и делает вид, что просто смотрит вниз.

— Не надо.

— Я еще ничего не сказал.

— Вот именно.

Он медленно кивнул. Май снова взяла старую эма, но пальцы не слушались. Дерево уже остыло. Иероглиф дождя опять был просто размытым знаком, пятном туши на старой просьбе. Ни ворот, ни девочки, ни синего зонта. Только фраза, оборванная так, что от нее болело горло: «Я хотела идти под одним зонтом не потому, что...»

Май осторожно положила табличку на стол.

— Это могло быть...

Усталость. Перегрев. Запах старого дерева. Внушение. Совпадение. Все слова стояли в очереди — разумные, полезные. Ни одно не подошло. Рэн не помог ей, не подхватил объяснение, не превратил случившееся в шутку. Если бы он пошутил, она смогла бы снова не поверить.

Май подняла глаза.

— Вы это тоже видели?

Глава 3. Легенда о семи фразах

За открытой галереей храма старая сакура шумела так тихо, будто кто-то перебирал сухую бумагу. Лепесток, прилипший к ее пальцам, уже упал на циновку, но кожа всё еще помнила чужое тепло: мокрую ручку зонта, школьные ворота, девочку, не успевшую договорить фразу. Рэн сидел напротив и молчал. Это беспокоило сильнее, чем его шутки.

Настоятель принес чай только после того, как они оба перестали задавать один и тот же вопрос разными словами. Он поставил чашки на низкий столик, поправил рукав серого одеяния и сел так спокойно, словно каждый день к нему приходили люди с лицами тех, кто только что увидел чужую память.

— Вы знали, — сказала Май.

Вопросом это не вышло. Обвинением — тоже. Чересчур мало сил осталось на точность.

Настоятель посмотрел не на нее, а на старую эма между ними. В размытом знаке дождя темнела тонкая трещина.

— Я знал легенду.

— Легенды не показывают школьные ворота, — Рэн наконец подал голос. Легко, но без прежней насмешливости. — И не заставляют двух посторонних людей видеть один и тот же кадр.

На слове «кадр» Май бросила на него взгляд. Внутри что-то неприятно дернулось.

Настоятель поднялся, подошел к полке у стены и достал длинный плоский футляр из темного дерева. Лак на крышке потускнел, у металлической застежки зеленела старая патина. Он поставил футляр перед ними и открыл. Внутри, на тонкой шелковой подкладке, лежали семь засушенных лепестков — почти белых, с потемневшими краями. Каждый был зажат между прозрачными пластинами и подписан тонкой кистью: год, день цветения, короткая пометка, которую Май не успела разобрать. От футляра пахло сухим деревом и старым храмовым шкафом, где вещи лежат так долго, что начинают казаться терпеливыми.

— Семь? — Рэн наклонился ближе.

— Семь фраз, — сказал настоятель. — Семь признаний, которые не дошли до тех, кому были предназначены.

Май сцепила пальцы на коленях. Подушечки всё еще помнили шершавость эма.

— Это невозможно.

Настоятель не стал спорить. От этого раздражение только усилилось.

— В дни цветения старая сакура возвращает не желания, не ответы и не будущее. Только то, что человек уже носил в себе и не сумел произнести. Дерево не исполняет желания. Оно возвращает то, что люди не смогли сказать.

Он взял одну из прозрачных пластин и поднес к свету. Засушенный лепесток внутри казался следом от прикосновения, оставленным много лет назад. Слова смотрелись так, будто не собирались оправдываться.

Май хотела ответить сразу: сказать про усталость, про перегретый воздух в храме, про запах старой бумаги и про то, что память умеет подстраивать чужие лица под собственные страхи. Хотела вернуть всё в порядок, где у каждой вещи есть причина, у каждого звука — источник, у каждой трещины — физическое объяснение. Но молчание вышло длиннее, чем нужно.

Рэн заметил. Конечно заметил. Он умел замечать лишнее, как все люди, которые потом превращают чужую неловкость в линию.

Май потянулась к чашке, но не взяла ее. Чай остыл, на поверхности дрожал отраженный свет сада.

— И что, если эти фразы услышать, дерево передумает умирать?

Настоятель опустил пластину обратно в футляр.

— Деревья не передумывают. Они живут, пока могут. Как люди.

— Тогда зачем?

Он не сразу закрыл крышку.

— Иногда слово, сказанное поздно, уже не меняет прошлого. Но меняет того, кто остался.

Май не посмотрела на Рэна. Ей показалось, если она повернет голову, то снова увидит школьницу у ворот: влажную челку, белые носки, зонт, который та держала крепко. И мальчика, ожидавшего чего-то, но так и не услышавшего.

— Кто они? — спросил Рэн. — Девочка и мальчик из видения.

— Этого я не знаю.

Май резко подняла глаза.

— Удобно.

— Нет, — мягко сказал настоятель. — Неудобно. Если бы легенда давала имена, вам не пришлось бы искать людей. А дерево возвращает не справки.

Рэн тихо хмыкнул, будто хотел вставить шутку, но вовремя удержался.

Снаружи ударил храмовый колокол — один раз, негромко. Воздух в комнате дрогнул, и один лепесток из футляра, хотя крышка уже почти опустилась, слабо качнулся под прозрачной пластиной. Май увидела это. Рэн тоже. Никто ничего не сказал.

Когда они вышли на деревянную галерею, солнце уже сдвинулось к краю крыши. По доскам тянулись длинные полосы света, между ними лежали лепестки, занесенные ветром с храмового двора. Рэн шел за Май и держал планшет под мышкой так крепко, будто боялся уронить не устройство, а мысль.

Он не знал, что именно с ним происходит. Обычно после сильной сцены в голове сразу включалась раскадровка: общий план, крупный план, деталь, пауза перед репликой. Сейчас кадры тоже приходили, но не слушались. Девочка с зонтом то стояла у ворот, то оборачивалась лицом Май; мальчик из прошлого вдруг держал стилус, как он сам, и ждал, пока кто-то решит — остаться под дождем или уйти.

Рэн остановился у перил, достал планшет и включил экран. Белое поле ярко открылось. Он уменьшил яркость и провел стилусом первую линию: изгиб зонта, плечо школьницы, край ворот. Рука двигалась быстрее, чем мысль.

— Вы уже рисуете?

Голос Май был ровным.

— Пытаюсь понять, что мы видели.

— Через рисунок?

— У меня не так много других талантов.

Она подошла ближе. В стекле экрана Рэн увидел ее отражение: темные волосы, напряженное лицо. Он успел дорисовать каплю на ребре зонта, когда ее ладонь легла на планшет и закрыла почти весь рисунок. Пальцы у нее были холодные. На безымянном осталась тонкая полоска глины — наверное, из мастерской. Рэн почему-то заметил именно это.

— Не превращайте это в милую серию.

Он поднял глаза.

— А если милое — единственное, что люди способны дочитать до конца?

Сказал легче, чем думал. Почти как обычно. Почти спасся.

Май убрала ладонь, но не отступила.

— Это была чья-то жизнь.

— Я знаю.

— Не похоже.

Он хотел возразить: сказать, что как раз поэтому рисует, потому что чужая жизнь исчезает быстрее, если ее никто не удержит хотя бы линией. Что милое — не значит пустое. Что

иногда читатель открывает историю из-за красивой обложки, а остается, потому что узнает собственную трусость в чужой фразе. Вместо этого Рэн повернул планшет к себе и выключил экран.

— Лучше?

Май, кажется, не ожидала уступки. Ее взгляд стал осторожнее.

— Временно.

— Строго у вас с доверием.

— Оно не входит в храмовые архивы по открытому доступу.

Рэн улыбнулся. Почти честно.

Она разозлилась бы меньше, если бы он продолжал шутить легко. Но после слов настоящего в голосе Май что-то изменилось. Она спорила так же сухо, держалась так же прямо, но на школьной девочке с зонтом зацепилась. Рэн видел это по тому, как она избегала смотреть на ящик с табличками эма у стены.

— Вы правда думаете, что это усталость?

Май посмотрела в сторону двора, где рабочий сметал лепестки с каменной дорожки.

— Я думаю, что два человека, оказавшиеся в эмоционально заряженном месте, могли одинаково интерпретировать набор раздражителей.

— Набор раздражителей носил школьную форму и держал зонт.

— Человеческое изображение щедро.

— У вас оно, выходит, очень синхронное с моим.

Она медленно повернулась к нему. Рэн понял, что перешел границу, но отступить было поздно.

— Господин Амаги...

— Рэн, — машинально поправил он.

— Господин Амаги, — повторила Май с тем особым терпением, которое обычно предшествовало удару, — если вы ищете удобную легенду для вебтуна, обратитесь к городскому совету. Они любят красивые формулировки: «последнее цветение», «память Касуми», «бережное прощание». У них наверняка есть папка с готовыми слезами.

Рэн застегнул чехол планшета.

— А вы, значит, ищете только факты.

— Да.

— Даже если факт смотрит на вас из прошлого и держит зонт?

Она не ответила сразу, это было опаснее любого раздражения.

Ветер прошел по галерее, принес запах сырой земли и сладких рисовых лепешек из лавки у подножия холма. Где-то внизу смеялись школьники. Обычный день не хотел знать, что в храмовом футляре лежат семь высохших причин не успеть сказать главное.

— Я ищу способ закончить работу бабушки, — сказала Май тише. — И уехать.

Рэн услышал в этом не точку, а дверь, которую закрывают.

— Тогда тем более стоит разобраться быстро.

— С вами?

— У меня есть пропуск в администрацию, доступ к городским материалам по проекту сакуры и дурная привычка разговаривать с незнакомыми людьми.

— Последнее я заметила.

— А у вас есть архив мастерской, таблички, знание города и способность останавливать художника голой ладонью.

Май посмотрела на свою руку, будто только сейчас вспомнила, что закрыла ему экран.

— Это не преимущество. Это уже предупреждение.

— Я умею читать предупреждения. Иногда даже с первого раза.

Она не поверила. Правильно сделала.

В мастерской бабушки было темнее, чем утром. Узкое окно пропускало вечерний свет косой полосой; в ней плавала пыль, похожая на мелкую золу. Май открыла блокнот на чистой странице и положила рядом карандаш. Рэн сидел напротив и старался не трогать ничего без разрешения. Это было заметно и оттого раздражало меньше.

На столе между ними лежала эма с размытым знаком дождя. После храма Май завернула ее в мягкую бумагу, хотя сама себе сказала, что делает это из профессиональной осторожности. Не из страха потерять след.

— Условия, — сказала она.

Рэн кивнул чересчур серьезно.

— Я готов.

— Не надо так радоваться.

— Я радуюсь сдержанно. Внутри.

Май записала первую строку и, не поднимая головы, произнесла:

— Никаких шуток про судьбу.

— Вообще никаких?

Она посмотрела на него.

— Даже удачных.

— Жестоко.

Май поставила точку. Карандаш оставил темный след.

— Никаких рисунков с меня.

Рэн замер всего на долю секунды, но Май заметила. Она всегда замечала микротрещины: в глазури, в бумаге, в чужом молчании.

— Это обязательно отдельным пунктом, — добавила она.

— А если вы случайно окажетесь на общем плане?

— Сотрете.

— Если на дальнем?

— Размоете.

— Если это будет только рукав?

— Господин Амаги.

— Понял. Рукава тоже имеют право на частную жизнь.

Май записала третий пункт, нажимая сильнее, чем требовалось:

— Никаких романтических кадров.

Рэн наклонил голову.

— В документальном смысле или в художественном?

— В любом.

— Даже если кадр сам романтический?

Май не ответила. Пауза получилась неловкой, но не пустой — с острыми краями. За окном по жестяному козырьку ударил первый редкий дождь, хотя небо еще оставалось светлым. Рэн вдохнул, будто собирался добавить что-то легкое, и передумал.

Май перевернула карандаш и стерла жирную точку после третьего условия. Бумага чуть посерела.

— С моей стороны — доступ к архиву мастерской. Таблички, старые записи бабушки, документы по храмовым заказам. Но ничего не выносить без моего разрешения.

— Согласен.

— Фотографии — только после согласования.

— Согласен.

— Публикации — только после того, как я увижу материал.

На этот раз он не ответил сразу. Май подняла глаза.

— Уже не так интересно?

Рэн провел пальцем по краю закрытого планшета.

— Интересно. Просто у меня редактор любит сроки, а не согласования.

— Тогда выбирайте редактора.

Он улыбнулся, но не спрятался за улыбкой до конца.

— Согласен.

Это прозвучало быстро. Чересчур легко для человека, которому только что ограничили почти все способы работать. Май насторожилась.

— Почему?

— Потому что без вас я получу красивую городскую легенду, которую можно нарисовать за три ночи и забыть через неделю. — Он посмотрел на эма. — А с вами, возможно, узнаю, почему девочка с зонтом так и не сказала свою фразу.

Май опустила взгляд первой. Она не смутилась, а сказала себе именно так.

В блокноте оставалось место для подписи. Глупость, конечно. Они не заключали договор, не открывали дело, не создавали команду. Просто два человека, которым одно и то же дерево показало одну и ту же невозможную сцену, пытались придать этому форму, чтобы не испугаться окончательно.

Май написала: «Архив — завтра, 9:00». Потом добавила: «Школьные записи. Выпускные фотографии. Дождь/зонт».

— Вам нужен будет доступ к старым школьным альбомам, — сказала она. — Бабушка иногда реставрировала рамки для школы. У нее могли остаться накладные, имена, годы.

— А мне — списки из городского архива. Если девочка была из Касуми, ее можно найти.

— Не девочка.

Рэн вопросительно посмотрел на нее. Май коснулась эма кончиком карандаша, но не подвинула.

— Сейчас она уже не девочка.

Он понял. И не пошутил.

Дождь усилился. По козырьку застучало чаще, в мастерской запахло мокрым деревом и старой глиной. Май закрыла блокнот, но рука осталась на обложке. Рэн потянулся к планшету и остановился, словно вспомнил второе условие.

— Что? — спросила она.

— Ничего.

— У вас лицо человека, который уже нарушает соглашение мысленно.

— Это не наказуемо, если я не публикую.

— Ошибаетесь.

Он поднял обе руки, сдаваясь.

Май должна была почувствовать облегчение. Сделка была ясной, границы обозначены, работа возвращена в понятный порядок: архив, имена, даты, адресаты. Всё, что можно записать, проверить, разложить по папкам. Но когда Рэн поднялся, чтобы уйти, в мастерской стало почему-то тихо.

Он остановился у двери и повернулся.

— Май Сиракава.

Она напряглась от собственного имени в его голосе.

— Что?

— Завтра в девять. Я не опоздаю.

Обычная фраза. Ничего лишнего. Но после девочки у школьных ворот обещание прийти прозвучало так, будто под ним лежало что-то большее. Май кивнула.

Рэн вышел под дождь без зонта. Через стекло она увидела, как он накинул капюшон, спустился с крыльца и уже на улице обернулся к мастерской. Не помахал, не улыбнулся. Просто посмотрел — коротко, будто проверил, горит ли свет.

Май не сразу отошла от окна. Потом вернулась к столу, открыла блокнот и рядом с тремя условиями дописала четвертое, только для себя: «Не верить чересчур быстро».

Карандаш задержался над бумагой. За окном дождь сбивал лепестки на камни, и один из них, мокрый, почти прозрачный, прилип к стеклу напротив ее лица. Май смотрела на него дольше, чем собиралась, пока в тишине мастерской ей не почудился слабый девичий вдох — будто кто-то снова стоял у школьных ворот и никак не решался раскрыть зонт.

Глава 4. Первая чужая любовь

В школьном архиве пахло пылью, мелом и влажной бумагой. Май открыла вторую коробку так осторожно, будто внутри лежали не ведомости выпускников, а чашки с тончайшими трещинами. На крышке чернели выцветшие цифры: год, класс, фамилия завуча, которого она смутно помнила по рассказам бабушки. Бумага под пальцами была шероховатой, упрямой, как все старое, что не желало сразу отдавать себя чужим рукам.

Рэн сидел на полу у низкого стола и листал альбомы не по порядку. Это раздражало почти физически.

— Если мы ищем конкретный выпуск, — сказала Май, не поднимая глаз от списка, — логично двигаться по годам.

— Логично, — согласился он и перевернул еще три страницы вперед.

Май задержала вдох. Она уже успела понять: Рэн не отрицал правила, он просто существовал рядом с ними так, будто правила вежливо обходили его по краю.

— Ты сейчас пропустил два класса.

— Зато нашел человека, который на всех фотографиях закрывает глаза.

— Нам нужен не он.

— Пока не нужен. Но у него отличная драматическая линия.

Май посмотрела на него поверх стопки карточек. Рэн невинно улыбнулся. На его коленях лежал планшет, но он не рисовал — только иногда касался пальцем пустого экрана, будто мысленно расставлял кадры. В солнечной полосе у окна висела пыль. За стеклом коридора доносились голоса: где-то занимался кружок каллиграфии, кисти шуршали по бумаге, кто-то рассмеялся чересчур громко и тут же был остановлен учительским «тише».

После видения у них осталось немного: школьные ворота, старая форма, девочка с зонтом и мальчик, который не понял фразу. Еще был дождь, хотя в памяти сакуры дождь мог быть не погодой, а способом спрятать лицо.

— Девочка стояла слева от ворот, — сказала Май. — Значит, могла быть младше. Или ждала кого-то из старшего класса.

— Или всегда стояла сбоку.

— Это не метод.

— Это тоже метод. Просто не твой.

Она хотела ответить резко, но под пальцами нашлась тонкая конвертная бумага. Внутри лежали фотографии выпускных классов: черно-белые, с неровными краями, подписанные аккуратной рукой. Май разложила их на столе.

На первых двух — ничего. Ряды школьников, учителя в темных костюмах, девочки с одинаковыми лентами в волосах. На третьей Рэн наклонился ближе.

— Подожди.

Май не любила это слово. Оно всегда звучало так, будто другой человек уже увидел то, что она пропустила.

— Что?

Он указал не на центр снимка, где стоял классный руководитель, и не на мальчиков в последнем ряду, которые явно пытались не рассмеяться. Его палец остановился у самого края.

Там стояла девочка. Не совсем отдельно, но так, что между ней и остальными осталось узкое пустое место, будто фотограф сказал «плотнее», а она не решилась сделать шаг. Волосы до подбородка, светлая форма, руки перед собой. Лицо спокойное, почти незаметное.

— Это может быть она, — сказала Май.

— Хана, — прочитал Рэн подпись на обороте. — Хана Морикава.

— Ты не можешь знать по лицу.

— Не по лицу.

Он развернул снимок к ней и указал на правую сторону второго ряда. Мальчик держал закрытый зонт — не под мышкой и не рядом с портфелем, а перед собой, обеими руками, будто зонт был чем-то важным и неловким одновременно. На фотографии не было дождя. Солнце ложилось на школьный двор жесткими белыми пятнами.

— Такэо Игараси, — сказала Май, сверяясь с подписью.

— Она смотрит на него.

Май уже хотела возразить, что на старых фотографиях все смотрят странно: кто-то в сторону, кто-то сквозь камеру, кто-то в себя. Но потом заметила. Хана действительно смотрела не в объектив. Ее лицо было повернуто почти незаметно, всего на несколько градусов, а взгляд уходил к мальчику с закрытым зонтом. Не мечтательно и не робко — скорее так, как смотрят на место, куда хочется сделать шаг, но нельзя, потому что все стоят смирно, фотограф считает до трех, а рядом чужие плечи.

Май положила рядом табличку эма, завернутую в ткань. Дерево молчало, но шершавая поверхность будто чуть потеплела.

— Нам нужен адрес.

Рэн тихо усмехнулся.

— Ты сейчас сказала это мягче, чем обычно.

— Я сказала это эффективно.

— Конечно.

Он снова посмотрел на фотографию. Улыбка исчезла, и Май, заметив это боковым зрением, почему-то не стала подгонять.

Фамилия Игараси нашлась быстрее, чем Морикава. Такэо окончил школу, работал в семейной лавке сладостей и, судя по городскому справочнику, позже унаследовал ее. Лавка все еще существовала на фестивальной улице, между мастерской вееров и маленькой аптекой с зеленой вывеской. У Ханы след обрывался после выпуска: переезд, без нового адреса.

Май аккуратно вложила фотографию в прозрачный файл.

— Начнем с него.

— С мальчика с зонтом.

— С Такэо Игараси.

— Иногда твоя точность убивает всю романтику.

Май закрыла коробку.

— Значит, романтика плохо держится.

Рэн поднялся, отряхнул колени и взял фото только за край. На мгновение их пальцы оказались рядом. Май первая убрала руку — не резко, но достаточно быстро, чтобы он заметил. Рэн ничего не сказал. Только положил фотографию в папку так осторожно, будто уже понял: школьница у края снимка ждала не их расследования, а одного человека, который сорок лет назад не посмотрел в нужную сторону.

Фестивальная улица днем была совсем не такой, какой Рэн ожидал ее нарисовать. На экране она вышла бы мягкой: низкие вывески, тканевые занавески норэн над входами, красные фонари, витрины с рисовыми сладостями, солнечные пятна на плитке. В жизни к этому добавлялись запах жареного теста из соседней лавки, влажный ветер с моря, скрип велосипеда, коробки с поставками у служебных дверей и ворчание женщины, которая пыталась отучить школьников трогать декоративные ветки сакуры.

Лавка моти Игараси стояла между аптекой и магазинчиком бумажных зонтов. Рэн заметил это сразу и не стал комментировать. Май тоже заметила: ее взгляд скользнул по круглым зонтам в соседней витрине и вернулся к вывеске сладостей.

— Не надо делать лицо, будто это знак судьбы.

— Я вообще молчу.

— У тебя громкое молчание.

Это было почти шуткой. Очень сухой, с острыми краями, но все-таки шуткой, и Рэн решил не портить момент.

Внутри лавки было тепло. За стеклом лежали моти: белые, зеленоватые, розовые, присыпанные крахмалом, с начинкой из красной фасоли и клубники. На полке стояли подарочные коробки с маленькими наклейками в форме лепестков. В углу тихо тикали часы с маятником.

Пожилой мужчина за прилавком перевязывал коробку тонкой лентой. Он поднял голову, когда они вошли. У него были спокойные, чуть выцветшие глаза и руки человека, который всю жизнь делал одно и то же движение так точно, что оно стало частью дыхания.

— Добрый день, — сказала Май официально. — Мы ищем Такэо Игараси.

— Вы его уже нашли, — ответил старик. — Если только у меня нет двойника, который печет моти хуже меня.

Рэн улыбнулся первым. Май достала блокнот. Старик посмотрел на блокнот, потом на школьную фотографию, которую она положила на прилавок. Его лицо изменилось не сразу. Сначала он просто наклонился ближе. Потом перестал держать ленту, и один ее конец медленно распустился, упав на стекло.

— Откуда у вас это?

Рэн уловил, как Май собралась. Сейчас она скажет про архив, храм, эма, исследование. Правильно скажет, точно. И все равно не туда.

— Мы нашли снимок в школьном архиве, — мягко сказал он. — Пытаемся восстановить одну историю, связанную со старой сакурой храма Юки.

Май бросила на него короткий взгляд — не благодарный, предупреждающий. Такэо провел пальцем над фотографией, не касаясь лиц.

— Хана, — сказал он.

Имя прозвучало так, будто старик не вспоминал его, а просто перестал сдерживать.

— Хана Морикава? — уточнила Май.

— Да. Она стояла в стороне даже тогда, когда ее звали в середину. Учителя сердились: «Хана, тебя же потом на снимке не найдут». — Он улыбнулся бережно, не радостно. — А я находил.

Рэн не стал записывать. Некоторые фразы портились от того, что их сразу превращали в материал.

— Вы были друзьями? — спросил он.

Такэо посмотрел на него, и Рэн понял: вопрос чересчур мал для того, что лежало между двумя подростками на старой фотографии.

— Мы ходили одной дорогой после школы. Иногда. Если начинался дождь.

Май все еще держала блокнот, но уже не писала.

— В видении был зонт, — сказала она.

Такэо перевел взгляд на нее. Не испугался. Только устал чуть сильнее, будто всю жизнь ждал, что кто-то наконец произнесет это слово.

— Зонт был мой. Точнее, отцовский. Тяжелый, черный, неудобный. Я таскал его даже в ясные дни. Отец говорил, что погода у моря не спрашивает разрешения.

Рэн заметил его раньше Май. За прилавком, в узком пространстве между полкой с коробками и стеной, стоял старый закрытый зонт. Черная ткань выцвела до серого, ручка была отполирована ладонью до мягкого блеска. Он не выглядел забытым. Он выглядел оставленным на своем месте.

— Это он?

Такэо не обернулся.

— Да.

В лавке стало тихо. С улицы донесся звон велосипедного колокольчика и смех детей, пробежавших мимо витрины.

— Хана всегда делала вид, что дождь ей не мешает, — сказал Такэо. — Шла рядом, мокла, улыбалась. Если я предлагал зонт, отвечала, что любит дождь. Представляете? Никто не любит дождь настолько, чтобы промочить школьную форму.

Май медленно закрыла блокнот. Рэн увидел это движение и понял: сейчас оно важнее любого вопроса. Она больше не пыталась удержать историю в порядке. Она просто слушала.

— А вы? — спросила она.

— Я был глупым мальчиком. Думал, если человек отказывается, значит, не хочет. Думал, вежливость — это не настаивать.

Он взял с полки три маленькие чашки, поставил их на поднос и налил чай из пузатого керамического чайника. Чай был светлый, с запахом жареного риса.

— Она уехала после выпуска. Семья перебралась на север. Я узнал через месяц. Писем не было.

Он поставил чашки перед ними. Третью — перед пустым местом у края прилавка. Рэн не сразу понял. А когда понял, что-то неприятно сжалось под ребрами.

— Вы ждали ее? — спросила Май.

Такэо усмехнулся.

— Нет. Я держал лавку, женился, вырастил дочь, похоронил жену, научил внука не жалеть пасту из фасоли. Ждать — чересчур громкое слово для жизни, в которой каждый день надо вставать в четыре утра. Но когда начинался дождь, я все равно смотрел на дверь.

Рэн опустил глаза на чай. В голове уже возник кадр: старик за прилавком, зонт за спиной, дверь в серой полосе дождя. Красиво. Чересчур красиво, если забыть, что человек прожил с этим не как с кадром, а как с привычкой смотреть и не находить.

Май коснулась края эма через ткань в сумке.

— У нас есть фраза.

Такэо медленно поднял взгляд.

— Ее?

Май не ответила сразу, и это молчание оказалось честнее любого объяснения.

Они вернулись в лавку ближе к вечеру, когда фестивальная улица стала мягче от розоватого света. Такэо перевернул табличку на двери: «Закрито». Рэн остался у витрины, будто случайно рассматривая коробки с моти, но Май чувствовала его рядом — устойчивого и непривычно тихого.

На прилавке лежала эма. Старая, потемневшая, с размытым иероглифом дождя у верхнего края. Май развернула ткань. Дерево казалось теплым, хотя чай в лавке уже остывал. Такэо стоял напротив без фартука, аккуратно сложенного рядом с кассой. Теперь он выглядел не владельцем лавки, а тем мальчиком с фотографии, который так и не понял, зачем носил зонт в солнечные дни.

— Я должен что-то сделать? — спросил он.

Май посмотрела на эма. Она сама не знала. Сакура не давала инструкций, не обещала исцелений, не возвращала умерших и не отменяла прожитых лет. Только подталкивала к фразе, которая когда-то не нашла рта.

— Нет. Только услышать.

Ее голос прозвучал спокойнее, чем она чувствовала. Рэн чуть сдвинулся, чтобы свет из окна падал на табличку. Он не вмешивался, не шутил, не пытался сделать момент красивее.

За окном ветер тронул ветви молодой сакуры в кадке у соседней лавки. Несколько лепестков поднялись с тротуара и ударились в стекло, как маленькие белые пальцы. Май провела большим пальцем по нижнему краю эма. Сначала она увидела только старые волокна дерева.

Потом между пятнами проступила тонкая темная линия, словно тушь вспомнила, куда ей нужно вернуться.

Фраза была короткой. От этого почти невыносимой.

— «Я хотела идти под одним зонтом не потому, что шел дождь».

В лавке ничего не изменилось. Часы продолжали тикать. Чай остывал. За стеной продащица бумажных зонтов сдвигала витринную решетку. Мир не остановился, чтобы дать этой фразе место.

Только Такэо закрыл глаза. Май не знала, куда деть руки. Табличка стала легкой, почти пустой, будто отдала то, что держала дольше человеческой жизни. Она положила ее на прилавок и вдруг почувствовала себя лишней: чересчур молодой и живой, чересчур поздней.

Такэо молчал долго. Рэн не двигался. Потом старик повернулся к полке, взял вторую маленькую чашку и поставил рядом со своей — не перед Май, не перед Рэном, а у пустого места у края прилавка, где уже лежала аккуратно сложенная салфетка. Он налил чай. Рука дрожала, но ни капли не пролилось.

— Хана не любила горький, — сказал он очень тихо. — Всегда добавляла много сладкого. Я говорил, что так нельзя почувствовать вкус.

Он усмехнулся, и усмешка развалилась на вдохе.

— А она говорила: значит, вкус плохо старается.

Май опустила взгляд. Ей казалось, что если она посмотрит на Рэна, то не удержит лицо спокойным. За одну фразу пожилой Такэо не стал счастливее — счастье здесь было бы грубым, неправильным словом. Он просто получил право перестать считать себя мальчиком, которому отказали. Право узнать, что его тоже выбрали. Только не сказали.

Такэо поставил возле второй чашки маленький розовый моти.

— Она любила клубничные. Хотя делала вид, что берет первый попавшийся.

Рэн отвернулся к окну. Май заметила это по отражению в стекле: лицо было размытым, глаза — нет. За окном с ветки сорвалось несколько лепестков. Они падали медленно, по одному, без прежней праздничной щедрости. Один прилип к стеклу напротив старого зонта за прилавком.

— Я думал, вежливость — это не мешать человеку идти одному, — сказал Такэо. — А может, надо было просто спросить еще раз.

Май сжала пальцы. Ей хотелось сказать что-то правильное: что Хана знала, что любовь не исчезает, что поздние слова все равно важны. Но все это звучало чересчур для человека, который только что встретил свою юность за прилавком лавки моти.

— Иногда люди отвечают отказом не потому, что не хотят, — сказала она наконец. — А потому что боятся хотеть чересчур заметно.

Слова вышли сами. Май испугалась их больше, чем Такэо. Рэн повернул голову не сразу, но она почувствовала его взгляд.

Такэо кивнул, будто принял не утешение, а простую вещь, которую можно поставить рядом с чашкой.

— Вы вернули мне не прошлое. Прошлое не возвращается. — Он посмотрел на вторую чашку. — Но теперь я хотя бы знаю, как оно звучало.

Май подвинула эма к нему.

— Она была у сакуры. Думаю, теперь должна остаться у вас.

Такэо не взял табличку сразу. Провел ладонью по прилавку, освобождая место, и положил эма рядом со старым зонтом.

Рэн открыл дверь, когда они вышли. Колокольчик над входом буднично звякнул. На улице пахло сладкой фасолью, морем и пылью после теплого дня. Май сделала несколько шагов и остановилась у края тротуара. Руки все еще не находили места: в карманах было тесно, вдоль тела беспомощно, на ремне сумки — заметно.

Рэн встал рядом, но не чересчур близко.

— Ты сказала ему хорошую фразу.

— Я сказала первую, которая пришла в голову.

— Обычно это и опасно.

Май посмотрела на него. Он не улыбался, от этого его слова не казались легкими.

— Не рисуй это.

Рэн помолчал.

— Не буду.

Она почему-то поверила.

В соседней витрине бумажные зонты стояли раскрытыми, яркие и бесполезные в ясный вечер. Май увидела в стекле их отражения: себя с напряженными плечами, Рэна рядом, старую лавку за спиной и лепесток, застрявший на ее рукаве. Она хотела стряхнуть его, как делала всегда, но не стряхнула.

Глава 5. Чай, моти и чужой зонт

Рэн понял, что лавка Такэо осталась позади, не сразу. Сначала он слышал только шорох пакета: тонкая ручка впивалась в пальцы, внутри перекачивались коробочки с моти, завернутые так аккуратно, будто старик складывал не сладости, а слова сорокалетней давности. От лавки тянуло тёплым рисом, зелёным чаем и сладкой фасолью — домашним и чужим запахом.

Улица после полудня была влажной от тумана. Над крышами лавок висели низкие облака, вывески поскрипывали на ветру. Май шла рядом, руки в карманах светлого плаща, и смотрела вперёд — так собранно, будто дорога была списком задач, а не улицей чужой любви.

— Ты молчишь уже три минуты, — сказал Рэн. — Это новый личный рекорд или мне начать волноваться?

— Не начинайте.

Она повернулась. Взгляд был сухой, но не холодный; после лавки в нём осталась маленькая трещина, и Рэн поймал себя на том, что не хочет её зарисовывать. Запомнить.

— Вы довольны? — спросила Май.

— Тем, что человек получил фразу, которую ждал полжизни?

— Тем, что это можно красиво вставить в вебтун.

Рэн перехватил пакет другой рукой. Ручка оставила на пальцах красную полосу.

— Нет. Этим как раз не очень.

Май замедлила шаг. Возле закрытой чайной на бутылке дрожал розовый лепесток, чересчур мокрый, чтобы улететь.

— Странно слышать это от человека, который приехал сюда за историей.

— Истории иногда ведут себя невоспитанно. Сначала кажутся материалом, потом садятся напротив тебя в лавке, ставят вторую чашку для того, кого нет, и всё портят.

Он достал коробочку, перевязанную бумажной лентой с печатью лавки Такэо: круглое пирожное и зонт. Усмешка вышла тише обычного.

— Он положил клубничные. Сказал, Хана любила кислое послевкусие.

— Вы и это запомнили?

— Я ужасно внимательный, когда меня не обвиняют в эксплуатации чужой памяти.

— Вас обвиняют за привычку делать вид, что если вы пошутили, то уже извинились.

Рэн остановился у края тротуара. Мимо прошёл старый зелёный трамвай; рельсы блеснули мокрым серебром.

— Ладно. Тогда без шутки.

Май тоже остановилась, хотя могла пройти дальше. В коробочке лежали четыре бледно-розовых моти, припорошенные крахмалом.

— Хотите?

— Нет.

— Я ещё не сказал, какой вкус.

— Мне достаточно того, что это еда, которую вы предлагаете, когда хотите сменить тему.

— Это исследование способности принимать заботу в форме углеводов.

Май посмотрела на него почти строго, но только выдохнула через нос. Почти смешок.

— Иногда фраза опаздывает на сорок лет и всё равно приходит вовремя, — сказал он.

Слова повисли между ними неудобно для узкой улицы. Рэн пожалел, что произнёс их вслух: Май отвела глаза к сложенному зонту у двери чайной.

— Вовремя для кого?

— Для того, кто всё ещё слышит.

— А если слышать уже некому?

— Тогда для того, кто произносит.

Май медленно вынула руку из кармана. На подушечке большого пальца светлела царапина, наверное, от старой эма. Она взяла один моти осторожно, будто хрупкий черепок.

— Я беру, но я не согласна. И не потому, что вы сказали что-то убедительное. Просто Такэо-сан старался.

Рэн улыбнулся, но не стал ловить её на этом. Май откусила кусок, стёрла с губы белую пыль крахмала и нахмурилась, будто Рэн был виноват в том, что моти оставляют следы.

— Чересчур сладко.

— Самая мягкая похвала, которую я слышал за неделю.

Май вернула взгляд дороге.

— А ваша лёгкость иногда похожа на бегство.

Он хотел ответить — нашёл бы что-нибудь про право уйти. Но лавка Такэо всё ещё стояла за спиной, и там пожилой мужчина, наверное, убирал со стола вторую чашку. Поэтому Рэн только закрыл коробочку и пошёл рядом. Ветер принёс с холма несколько лепестков; один приклеился к ручке пакета и не поддался, когда Рэн попытался стряхнуть его.

— Оставьте, — сказала Май. — Он всё равно отвалится, когда высохнет.

Она пошла дальше. Рэн посмотрел на розовую точку на белой бумаге и не стал спорить.

Капли упали без предупреждения. Май решила, что с крыши сорвалась вода: одна капля стукнула по рукаву, другая — по переносице. Через несколько секунд улица потемнела, как бумага, на которую пролили тушь.

— Дождь, — сказал Рэн с таким видом, будто лично его заказал.

— Я заметила.

— У меня есть зонт.

— Поздравляю.

— Это было приглашение.

Май ускорила шаг.

— Мне недалеко.

— До мастерской двадцать минут вверх по холму.

— Значит, двадцать минут полезной дисциплины.

За её спиной щёлкнул механизм. Ткань зонта раскрылась с мягким хлопком, чёрный круг лёг на мостовую тенью, и дождь сразу зашумел по нему часто, нетерпеливо. Май не обернулась. Она не любила чужие зонты: под ними приходилось подстраивать шаг, держаться ближе, учитывать чужое плечо. Зонт превращал двоих в одну нелепую конструкцию, где трудно делать вид, что ты сам по себе.

— Вы сейчас принципиально мокнете? — спросил Рэн.

— Я сейчас иду.

— Очень независимо. И очень мокро.

Она сжала ремешок сумки. Лепестки липли к асфальту и колёсам велосипедов. Май свернула под навес автоматов, пропуская женщину с ребёнком под ярко-жёлтым зонтом. Ребёнок старался прикрыть мать; женщина смеялась. Май отвернулась чересчур резко. Рэн остановился рядом; зонт закрывал только половину навеса.

— Я могу идти на расстоянии, — сказал он. — Буду держать зонт над вами издалека.

— Не надо.

— Поздно. Призрак художника с зонтом уже существует.

— Вы невыносимы.

— Зато сухой.

Май посмотрела на его левое плечо. Оно уже темнело от воды. Зонт был сдвинут не над ним, а в её сторону, хотя она всё ещё стояла под навесом.

— Вы мокнете.

— Это художественный приём.

— Это простуда.

— Тогда медицинский.

Она хотела сказать, чтобы он держал зонт ровно: обычная практичная фраза, никакой благодарности и никакой уступки. Но порыв ветра бросил дождь под навес, холодная вода попала ей за воротник, и Май непроизвольно шагнула к Рэну. Он не торжествовал — просто поднял руку выше, чтобы зонт не задевал её волосы.

— Вот так, — сказал он тихо.

— Это временно.

— У великих решений сначала такой статус.

Под зонтом места было мало: слева поток воды с навеса, справа плечо Рэна. Когда они двинулись вверх, шаги сразу сбились. Май пошла быстрее, Рэн — медленнее, зонт качнулся, и холодные капли брызнули ей на щеку.

— Вы не умеете ходить под зонтом.

— Я обычно делаю это один. У меня не было подготовки к парному жанру.

— Тогда держите прямо.

— Если буду держать прямо, вы намокнете.

— А сейчас мокнете вы.

— Я выше. Дождю до меня ближе.

Дождь стучал по зонту и металлическим ставням. Вода бежала вдоль бордюра, унося лепестки в ливнёвки. Где-то за домами звякнул трамвайный колокол, на мгновение похожий на фурин.

Плечо Рэна коснулось её плеча: мокрая ткань куртки, тепло под ней, живая близость. Рэн тоже заметил — Май почувствовала это по тому, как он на секунду перестал дышать ровно.

— Извините.

— Дорога узкая. Это не повод извиняться.

Они прошли ещё несколько шагов. Плечи снова соприкоснулись, и на этот раз никто ничего не сказал. Май смотрела вперёд, стараясь думать о мастерской и коробках с эма, но взгляд всё равно зацепился за его рукав. Рэн держал зонт так, что почти весь правый край прикрывал её, а волосы у виска уже прилипли к коже. Он делал вид, что ничего не происходит, и от этого Май стало раздражающе трудно злиться.

— Сдвиньте зонт на себя.

— Тогда вас заденет.

— Я не растворюсь.

— Проверять не будем. Вдруг вы редкий реставратор, который боится воды.

— Керамика воды не боится.

Она не ответила. У перехода загорелся красный. Под зонт забрался запах жареных каштанов и сладкого риса из пакета с моти. Май заметила, что пальцы Рэна побелели от холода, и забрала пакет.

— Это ограбление?

— У вас занята рука.

— Я справлялся.

— Плохо.

Он посмотрел на неё так, будто слышал больше, чем следовало. Загорелся зелёный. Май шагнула первой, Рэн пошёл рядом. Пакет с моти раскачивался у её колена, его свободная рука оказалась чересчур близко к её руке, и Май держала пальцы неподвижно: если задеть его, дождь станет не погодой, а признанием.

На середине перехода порыв ветра ударил сбоку. Зонт вывернуло бы, если бы Рэн не удержал спицу. Май инстинктивно схватилась за его рукав; ткань была мокрой. Рэн посмотрел

на её пальцы на своей куртке, потом на неё. Ничего не сказал. Май отпустила сразу, но след остался — не на ткани, на коже ладони.

— Скользко.

— Конечно.

— Я не...

— Знаю.

Это «знаю» прозвучало чересчур мягко. Будто он понимал: ей нужно оставить себе выход, объяснение, слово вместо неловкого жеста.

У мастерской дождь стал тише. Май остановилась у двери и достала ключи: металлическое кольцо, потёртая бирка, ключ с красной кисточкой. Рэн не сразу убрал зонт. Пока она возилась с замком, он всё ещё держал его над ней, а сам стоял одним плечом под дождём.

— Вы можете зайти, — сказала она, открыв дверь и не оборачиваясь. — Высушить рукав. Тишина за её спиной стала заметной.

— Это приглашение?

— Это профилактика простуды.

— Самая романтичная формулировка за всю историю зонтов.

Май повернулась. Он улыбался осторожно, будто боялся спугнуть её собственную неожиданную уступку.

— Не делайте из этого кадр.

— Поздно.

Её взгляд стал колючим. Рэн поднял свободную руку, сдаваясь.

— В голове. Только в голове.

Май хотела возразить, но с края зонта сорвалась капля и упала ему на нос. Рэн моргнул так удивлённо, что она не успела спрятать улыбку. Очень маленькую. Он увидел и, к его чести, сделал вид, что нет.

Рэн вернулся в комнату поздно: с мокрыми кедами, пакетом моти и ощущением, что дождь продолжает идти где-то внутри уха. Комната над магазином канцтоваров была узкой, временной и чересчур светлой для ночной работы. На столе стояли стилусы, зарядки, забытая коробка лапши и планшет. За дешёвой занавеской Касуми расплывался в мокрых огнях.

Рэн поставил моти на стол. Один шарик остался в коробке — не тот, который Май сначала отказалась взять, и всё же он помнил чересчур точно, как она держала сладость кончиками пальцев, стирала крахмал с губы и говорила: «чересчур сладко».

Он снял куртку. Левый рукав был влажным насквозь. Рэн повесил её на спинку стула, но ткань потянула стул назад, и тот тихо стукнулся о стену.

— Драматично, — сказал Рэн пустой комнате.

Комната не оценила.

Он включил планшет. Рабочий файл вебтуна открылся на странице с Такэо: лавка, две чашки, старый зонт за прилавком. Линии были правильные, пауза — на месте. И всё равно кадр казался чересчур аккуратным, будто чужая боль уже стала красивой сценой.

Он закрыл файл и открыл новый. Пустой холст вспыхнул белым. Рука знала движение раньше головы: сначала появилась линия зонта — чёрная дуга, чуть перекошенная ветром. Потом плечо, край плаща, прядь волос у щеки, улица под дождём.

— Нет.

Условие Май было простым: никаких рисунков с неё, никаких романтических кадров, никакого лица как материала. Рэн усмехнулся без веселья.

— Технически это исследование зонтов.

Он продолжил. Май на рисунке шла чуть впереди, будто даже под одним зонтом пыталась сохранить отдельный маршрут. Себя Рэн набросал только краем: рукав, плечо, кисть на ручке зонта.

Лицо Май далось не сразу. Он нарисовал подбородок, стёр. Нарисовал губы — чересчур мягко, стёр. Попробовал сделать взгляд сухим, как на вокзале, но рука сама добавила сегоднешнюю усталость и ту почти-улыбку у двери мастерской.

— Нельзя, — сказал он тише.

Он выделил слой с лицом и нажал «очистить». Овал остался пустым. Странно, но без лица рисунок стал не хуже — нечестнее. Будто Рэн снова оставил человека узнаваемым настолько, чтобы чувствовать, и пустым настолько, чтобы не отвечать. Он отложил стилус, взял моти и надкусил. Сладкая фасоль показалась приторной. Он вспомнил, как Май сказала «Такэо-сан старался», и почему-то доел до конца.

За окном прошёл последний трамвай. Рэн снова взял стилус и вернул линию глаз — не полностью, только верхнее веко, угол, то напряжение, с которым Май смотрела вперёд, когда не хотела признавать, что заметила его мокрый рукав. Потом добавил маленькую складку у брови: упрямство, защита, трещина, которую не хотелось чинить без разрешения. Рисунок сразу стал живым.

Рэн долго смотрел на него, потом открыл панель сохранения. Пальцы сами набрали название файла: «Девушка, которая не верит в весну». Он прочитал строку и хмыкнул.

— Очень тонко, Амаги.

Можно было переименовать файл во что-нибудь профессиональное и скучное. Он выделил название, чтобы стереть, но не стёр. Файл сохранился.

Потом Рэн открыл настройки публикации. Черновик автоматически попал в папку проекта, рядом с кадрами лавки, школьных ворот, старой эма и руки Такэо над второй чашкой. Система предложила добавить рисунок в ближайшую серию: «Опубликовать с главой».

Кнопка светилась соблазнительно. Рэн знал, как сработает этот кадр: девушка под зонтом, чужое плечо под дождём, пакет моти как нелепое доказательство заботы. Читатели поймут. Кто-нибудь напишет: «Он уже влюбился». Кто-нибудь добавит: «Она тоже, просто упрямая».

Именно поэтому нельзя.

Рэн выключил публикацию. Кнопка погасла. Рисунок остался только в локальной папке, без зрителей, лайков и чужих догадок. Просто Май под зонтом. Просто линия глаз, которую он не смог стереть.

Он закрыл планшет, но не сразу убрал руку с крышки. В комнате было чересчур тихо после дождя, лавки, шагов рядом и плеча, которое коснулось его плеча дважды. Телефон мигнул уведомлением. Рэн вздрогнул, будто его поймали.

Сообщение было от городского координатора: завтра утром встреча по материалам о сакуре, просьба принести первые наброски. Рэн перевёл взгляд на мокрую куртку, пакет с последним моти и окно, за которым храмовый холм тонул в темноте.

Он взял телефон, открыл чат с Май и набрал: «Вы добрались сухой?» Чересчур заботливо. Стер. Набрал: «Пакет с моти вы унесли не весь. Это улика». Чересчур шутливо. Стер. Набрал просто: «Завтра в храме в девять?» Безопасно, по-рабочему, равнодушно. Рэн отправил.

Ответ пришёл не сразу. За эти двадцать секунд он успел пожалеть, что написал, открыть планшет, не открыть файл, закрыть планшет и назвать себя идиотом без всякой художественной ценности.

Телефон мигнул.

«В девять. И держите зонт ровнее».

Рэн перечитал сообщение дважды. Потом ещё раз. Он улыбнулся так, что пришлось закрыть лицо рукой. За окном дождь стих, но с крыши всё ещё падали редкие капли, будто кто-то наверху не договорил последнюю фразу и теперь, опоздав, всё равно пытался попасть в нужное место.

Глава 6. Отец Май и решение о сносе

Лапшичная пряталась в переулке за административным кварталом, между аптекой и лавкой с батарейками. Внутри пахло бульоном, влажными куртками и чистящим средством; экран над стойкой делал лица посетителей плоскими и усталыми.

Май пришла на семь минут раньше. Отец уже сидел у окна: чашка зелёного чая, нетронутая миска лапши и серая папка. На воротнике рабочего пиджака темнела пыльца: он снова весь день ходил вокруг храма, измерял влажность, фотографировал трещины и превращал боль в пункт отчёта.

Она задержалась у стола на лишнюю секунду. Отец поднял глаза.

— Ты похудела.

— Зато ты начал с личного, — сказала Май, садясь напротив. — Прогресс.

Он не улыбнулся, только подвинул к ней меню, хотя заказ уже был сделан.

— Здесь по-прежнему хорошая лапша с водорослями.

— Я помню.

За стеклом люди шли с прозрачными зонтами. Дождя не было, но влажные лепестки уже прилипали к куполам. Официант поставил перед Май миску; пар поднялся и исчез между ними. Отец взял палочки, но есть не начал.

— Как мастерская?

— Стоит на месте.

— Я спрашивал не об этом.

— Тогда формулируй точнее.

Он выдохнул через нос. Май опустила взгляд к лапше: кружок зелёного лука медленно вращался у половинки яйца. Всё в миске было правильным, кроме причины их встречи.

— Я видел документы по переносу храмовых табличек, — сказал отец. — Настоятель передал тебе работу?

— Бабушка обещала. Я заканчиваю.

— Ты не обязана брать на себя всё, что она не успела.

Май усмехнулась.

— Странно слышать это от человека, который всю жизнь называл чужие корни зоной ответственности.

Отец отложил палочки. На пальцах темнели следы земли.

— Я пригласил тебя не спорить о бабушке.

— А о чём?

Он положил ладонь на серую папку. Май поняла ещё до шороха пластика, до листа с заголовком: «Заключение о состоянии старой сакуры храма Юки». Пар ударил ей в лицо, и вдруг стало тесно в собственном пальто.

— Нет.

— Ты ещё не прочитала.

— Мне не нужно читать, если ты принёс это на ужин.

Отец открыл папку. Внутри лежали фотографии ствола, схемы, таблицы, отметки красным. На одном снимке кора расходилась тёмной раной; на другом ветвь над каменной дорожкой была обведена пунктиром.

— Сердцевинная гниль продвинулась дальше, чем мы думали. — У основания ствола пустота. Несколько крупных ветвей держатся хуже, чем показывал прошлогодний осмотр. После цветения нагрузка изменится, но риск останется. Если будет сильный ветер...

— Весной всегда ветер.

— Именно.

Май смотрела на фотографии и видела бабушку с маленьким фурин, старые эма, Хану с её опоздавшей фразой и Рэна под дождём, сдвигающего зонт к ней так, будто это ничего не значило.

— Ты хочешь её срубить.

— Я рекомендую санитарное удаление аварийного дерева.

— Как удобно. Если сказать «санитарное удаление», это уже не звучит как убийство.

— Май.

— Что? Неправильный термин?

— Дерево не человек.

— Для тебя — да.

Отец выдержал паузу. В кухне кто-то уронил металлический половник, и Май вздрогнула раньше, чем успела приказать себе не реагировать.

— Для меня это объект живой природы с высокой культурной ценностью и критическим уровнем риска. Поэтому я делал повторные замеры. Поэтому спорил с советом, когда они хотели закрыть территорию ещё неделю назад.

— Благородно.

— Не делай вид, что я пришёл сюда с удовольствием.

Май сжала палочки. Дерево под пальцами было гладким, одноразовым и лёгким.

— Бабушка умерла меньше трёх месяцев назад. Мастерскую я ещё не разобрала. В храме лежат её таблички. В городе висят плакаты про последнее цветение. И теперь ты приносишь фотографии гнили, потому что так проще?

— Потому что, если ветка упадёт на ребёнка, ты не простишь мне молчания.

— Не прикрывайся мной.

— Я отвечаю за заключение.

Он говорил спокойно: будто уже оставил только то, что можно подписать и подшить.

— Дерево не становится менее опасным оттого, что его любят, — сказал отец.

Палочки в руках Май треснули. Одна половинка переломилась у основания, острый край впился в большой палец; на белом дереве выступила точка крови.

— Дай посмотрю.

— Не надо.

— Май, ты поранилась.

— Это не опасно.

Он замер. Она поняла, что сказала чересчур много, но остановиться уже не могла. Чересчур долго всё в ней держалось на аккуратности: подписанные коробки, чистые кисти, выверенные отказы.

— Ты всегда так, — тихо сказала она. — Сначала заключение. Потом решение. Потом объяснение, что иначе было нельзя.

— Мы говорим о дереве.

— Конечно. Мы всегда говорим о чём-то другом.

Он посмотрел внимательнее, без раздражения.

— Если ты хочешь спросить о матери, спроси.

Май коротко рассмеялась, и звук не имел отношения к смеху.

— За ужином? Между лапшой и сносом?

— Ты сама начала.

— Нет. Я продолжила. Начал ты давно.

Отец закрыл папку, аккуратно совместил края листов.

— Твоя мать не имеет отношения к состоянию дерева.

— Удобно, когда всё можно разделить.

— Не всё разделяется. Но и не всё можно смешивать.

Он провёл ладонью по лицу, и Май впервые заметила, что он постарел: не седина и не морщины, а линия плеч и молчание после её слов.

— Бабушка верила, что сакура хранит память.

— Твоя бабушка верила ещё и в то, что треснувшую чашку можно вернуть к жизни, если хватит терпения.

— И была права.

— Чашка не падает на людей во время шторма.

Май отодвинула миску. Бульон плеснулся о край.

— Значит, всё? Ты уже решил?

— Решит городской совет.

— По твоему заключению.

— По фактам.

— Факты тоже выбирают, как показать.

За окном порыв ветра сорвал с ветки россыпь лепестков; они осели у двери лапшичной, где их тут же размазала подошва вошедшего курьера.

— Я не хочу уничтожать память твоей бабушки, — сказал отец.

— Но уничтожишь.

— Я хочу, чтобы никто не пострадал.

— Ты умеешь сохранять растения, но не людей.

Отец медленно перевёл взгляд на неё. Май поднялась. Стул громко скрипнул по полу, несколько посетителей обернулись, и она ненавидела это почти так же, как серую папку: семейные трещины не должны были попадать под чужой свет.

— Я закончу таблички.

— Это не отменит решения.

— Я знаю.

— И не уезжай ночью одна. Дождь обещали после десяти.

Забота, сказанная тем же голосом, что и диагноз дерева, ударила неожиданно. Май сунула сломанную половинку палочек в карман пальто — как улику.

— Погоду ты умеешь предупреждать. Очень полезный навык.

Отец ничего не ответил.

Рэн стоял у входа с пакетом документов и понимал, что должен уйти. Сейчас. Но ноги оставались на месте.

Дверь лапшичной была приоткрыта: курьер не закрыл её до конца. Рэн держал под мышкой конверт с копиями разрешений и списком старых школьных фондов. Он собирался передать Май бумаги быстро, может быть, даже без шутки: после истории Ханы и Такэо шутки требовали осторожности.

Потом он услышал голос Май — негромкий, натянутый, как леска. Мужчина отвечал спокойно и устало. Рэн видел его у храма: ботаник Сиракава, консультант городского совета. Отец Май.

Рэн уже потянулся к двери, чтобы закрыть её и отойти. Чужие семейные разговоры не были материалом. Но фраза отца прозвучала чётко:

— Дерево не становится менее опасным оттого, что его любят.

Рэн замер. Так говорят люди, которые заранее приняли боль как побочный эффект правильного решения. Он отступил к стене, чтобы его не было видно из окна. Пакет документов тихо хрустнул под пальцами. Когда Май ответила, в её голосе уже не было привычной сухости.

— Ты всегда так. Сначала заключение. Потом решение. Потом объяснение, что иначе было нельзя.

Рэн закрыл глаза. У каждого человека есть лицо для мира и есть момент, когда это лицо снимают не для тебя. Он знал эту границу: сам годами улыбался до вопроса и переводил боль в композицию, потому что картинку легче контролировать, чем правду.

Через щель двери он видел кусок стола, серую папку, край миски и руку Май. Пальцы сильно сжимали палочки. Когда дерево треснуло, он сделал шаг вперёд и остановился. Что он скажет, если войдёт? «Не ссорьтесь»? «Я знаю, каково это — бояться, что тебя сотрут»? Непрошеное утешение всегда звучит как присвоение места рядом. Май его не звала.

Голос отца стал тише, слов Рэн не разобрал. Потом Май сказала:

— Ты умеешь сохранять растения, но не людей.

Фраза легла между ними как неровный скол. Не реплика для вебтуна, а то, что человек выбрасывает, когда больше не может держать.

Рэн опустил взгляд на пакет. Через прозрачную папку проступал синий штамп администрации: «Материалы по объекту храм Юки». Сакура уже стала объектом. Май, наверное, тоже всю жизнь пыталась стать чем-то удобным для описания: реставратор, внучка, дочь, человек, который уедет и не будет мешать чужим решениям.

Дверь открылась резко. Рэн отступил за выступ стены. Май вышла первой. Она не плакала; лицо было собранным, прямым. Такие лица трудно рисовать: если провести линию мягче, соврёшь; если жёстче, сделаешь карикатуру.

Она остановилась под вывеской, достала телефон и тут же убрала. Потом заметила кровь на пальце и прижала её к салфетке. Рэн стоял в тени у автомата с напитками и не дышал. Ему хотелось выйти, сказать хотя бы: «У тебя палец». Нет. «Я принёс документы». Ещё хуже. «Я не слышал». Самая большая ложь.

Май подняла голову. На секунду ему показалось, что она его заметила, но взгляд прошёл мимо: по мокрому асфальту, закрытым ставням соседней лавки, низким облакам над проводами. Потом она пошла к трамвайной линии быстро, как ходят люди, которые боятся замедлиться.

Через несколько секунд из лапшичной вышел её отец. Он не пошёл за ней сразу. Постоял у двери с серой папкой; в свете вывески его лицо было не холодным и не жестоким, просто очень усталым.

Рэну стало неловко за собственную злость. В кадре зритель сразу выбирает, кого жалеть. В жизни оба могли быть правы ровно настолько, чтобы ранить друг друга без злого умысла. Отец Май посмотрел ей вслед, но не окликнул. Он тоже не знал, имеет ли право догонять.

Когда мужчина вернулся внутрь, Рэн вышел из тени. Пакет документов стал влажным по краю от его ладони. Он посмотрел на улицу, где Май уже исчезла за поворотом, и впервые за долгое время не захотел ничего зарисовать. Сцена не была слабой. Просто она была не его.

В мастерской свет горел только над рабочим столом; остальное тонуло в синеватой темноте. За окнами начался мелкий косой дождь; он шуршал по вывеске и собирался тёмной ниткой на подоконнике. Пахло старой древесиной, рисовой бумагой и холодной золой благовония.

Май сидела без пальто, в сером свитере с закатанными рукавами. На столе лежала простая белая чашка с тонкой трещиной от края к доньшку. Хорошая вещь для рук, которым нужно было вспомнить порядок: очистить, смешать лак, нанести, ждать. Вещь не требовала объяснений.

Она взяла тонкую кисть. Пальцы дрогнули, и капля лака легла не туда, расплзлась тёмным пятном по белой глазури.

— Отлично, — сказала Май пустой мастерской. — Очень профессионально.

Она потянулась за салфеткой, задела баночку с золотой пудрой и успела поймать её у края. Несколько крупинки вспыхнули на чёрном коврик. В детстве Май казалось, что бабушка

хранит в таких баночках не пудру, а терпение. Сейчас это казалось жестоким: не всё можно склеить, не всё нужно показывать золотом.

В дверь постучали. Май сначала решила, что это дождь. Потом стук повторился — осторожный, не настойчивый. Так стучат люди, которые заранее готовы уйти.

Она вытерла пальцы и открыла. На пороге стоял Рэн: влажные волосы, тёмные пятна дождя на куртке. В одной руке он держал пакет документов, в другой — её рабочие перчатки с серыми следами глины. Май не заметила, что оставила их в храме.

— Ты забыла.

Без улыбки, без обычной защиты шуткой. Просто протянул. Это оказалось опаснее любой шутки.

— Спасибо.

Рэн кивнул, но не ушёл. Посмотрел не на неё — на стол за её спиной, на чашку, кисть, пудру.

— Поздно работаешь.

— У чашек нет расписания.

— У людей тоже иногда.

Она сжала перчатки.

— Ты принёс документы?

— Да. Копии из архива и список старых школьных фондов. Для следующей таблички.

Он положил пакет на столик у двери, не проходя внутрь без приглашения. Май заметила это и разозлилась на себя.

— Можешь оставить там.

— Уже.

Дождь за его спиной усилился. Рэн стоял в полосе света, усталый: тени под глазами темнее, пальцы чересчур крепко держали ремень сумки.

— Ты ел? — спросила она раньше, чем успела остановиться.

Он моргнул.

— Это забота или попытка выяснить, не испорчу ли я вид, если умру на пороге?

— Второе.

— Тогда ел.

Шутка прозвучала механически и сразу погасла. Май отступила от двери.

— Заходи. Дождь.

Он вошёл, снял обувь у порога и остался на краю комнаты, будто мастерская стала храмом с правилами, которые он ещё не выучил. Май вернулась к столу, надела перчатки. Одна села неровно: ткань цеплялась за пластырь. Рэн заметил.

— Палец?

— Палочки оказались слабее, чем выглядели.

— Бывает. Некоторые вещи ломаются не в тот момент.

— Я не спрашиваю, — сказал он тихо.

— О чём?

— О том, о чём ты не хочешь говорить.

Кисть остановилась над чашкой.

— Очень благородно.

— Нет. Просто поздно понял, что иногда вопрос — это тоже способ вломиться.

Май медленно опустила кисть в лак.

— Ты слышал?

Рэн не стал делать вид, что не понял.

— Не всё.

— Достаточно?

— Да.

Значит, он видел. Слышал голос, которым она говорила с отцом. Теперь в его голове есть ещё одна Май — та, у которой ломаются палочки в руках.

— Понятно.

— Май...

— Не надо.

Он замолчал. Она провела кистью вдоль трещины. На этот раз чёрный лак лёг ровнее. Золотую пудру нужно было наносить позже, но Май всё равно открыла баночку — просто чтобы занять руки.

— Я не собирался использовать это, — сказал Рэн.

— Великодушно.

— Я серьёзно.

— Вот именно.

Пудра на кончике шпателя дрожала. Любое неосторожное дыхание разнесло бы золото по столу, рукам, полу.

— Ты сейчас смотришь так, будто уже выбираешь ракурс.

Рэн тихо выдохнул.

— Я не рисую тебя.

— Рисуешь. Даже когда планшета нет.

Он не ответил сразу. Свет лампы оставлял половину его лица в тени. На виске прилип мокрый лепесток — случайный, нелепый, принесённый дождём. Обычно Рэн сам посмеялся бы, но сейчас даже не замечал.

— Не рисуй меня такой, — сказала Май.

Фраза вышла тише, чем она хотела. Не приказ. Почти просьба.

— Какой?

Можно было сказать: слабой. Злой. Дочерью, которую до сих пор можно ранить серой папкой. Девочкой, которая собирается уйти первой.

— Никакой. Просто не надо.

Рэн кивнул без попытки смягчить.

— Хорошо.

Май отвернулась к чашке. Трещина темнела на белой поверхности: ещё не золотая, ещё не спасённая. Просто видимая.

— Отец прав, — сказала она внезапно. — В техническом смысле. Если дерево опасно, оно опасно.

Рэн подошёл ближе, но остановился на другой стороне стола.

— А в не техническом?

— В не техническом он тоже всегда прав.

— Мой редактор говорит, что правота — плохой заменитель нежности.

Май почти улыбнулась.

— Умный редактор.

— Ужасный человек.

Она коснулась пудрой края лака. Золото пристало неровно, пятнами: не шов, только намёк. Рэн смотрел на чашку, не на неё.

— Мой отец не злодей. Было бы проще, если бы был. Он правда думает о безопасности. Правда... — она запнулась, ненавидя следующее слово, — заботится. Просто у него забота всегда приходит с документами.

— Некоторые люди иначе не умеют держать что-то важное.

Май подняла голову.

— Ты теперь на его стороне?

— Я сейчас не на стороне. Я рядом с дверью, помнишь? Очень безопасная позиция. Это была почти шутка — слабая, осторожная. Но в ней уже не было прежней защиты, и Май стало легче дышать.

— Мне не нужна жалость.

— Я не принёс жалость.

— А что принёс?

Он кивнул на пакет у двери.

— Документы. Перчатки. И, кажется, плохое понимание того, когда нужно уйти.

Май хотела сказать: тогда уходи. Не сказала. Вместо этого закрыла баночку с пудрой и поставила её между ними.

— Завтра посмотрим следующую табличку.

— Завтра, — согласился Рэн.

Он не спросил, будет ли она в порядке. Не сказал, что всё наладится. Просто подвинул чистую салфетку к рассыпанному золоту.

Май посмотрела на его руку. Ей захотелось накрыть её своей — проверить, можно ли остаться рядом и не стать слабее. Она не накрыла.

— Лепестки намокнут.

Рэн заметил прилипший к виску лепесток и аккуратно снял его.

— Тогда оставляю здесь?

— На подоконник.

Он положил лепесток у окна, рядом с чашкой, которую бабушка когда-то склеила золотом. Дождь за стеклом стихал. В мастерской пахло лаком, мокрой тканью и работой не на одну ночь.

Когда Рэн ушёл, Май долго смотрела на белую чашку с неровной тёмной линией. Золота на ней было совсем немного, но трещина уже перестала быть невидимой.

Глава 7. Второй лепесток

Утро после ссоры с отцом вымылось до почти жестокой прозрачности. В Касуми так бывало: ночью город пах мокрым деревом, пылью мастерской и несказанным, а к утру становился очень ясным, будто ни у кого здесь не было права прятать следы. Солнце лежало на ступенях храма Юки тонкими прямоугольниками, в низких кустах сушились капли, под навесом мерно постукивали таблички эма. Ветер шевелил их осторожно, словно боялся разбудить то, что люди оставили на дереве.

Май пришла раньше Рэна и сказала себе, что это из-за работы. Так было проще. Работа не спрашивала, почему всю ночь в памяти возвращались слова отца: дерево не становится менее опасным оттого, что его любят. Работа не замечала, как трудно удерживать кисточку, когда внутри еще дрожит злость. Она позволяла поставить коробки ровно, разложить таблички по возрасту, степени повреждения и породе дерева, проверить влажность и подготовить мягкие салфетки.

На столе под храмовым навесом лежали эма из старого хранилища. У одних края были обьежены временем, на других чернила расплылись так, что просьбы к богам стали похожи на следы дождя. Май работала в перчатках, но через тонкую ткань все равно чувствовала шероховатость дерева.

Одна табличка не сразу поддалась. Она застряла между двумя более новыми, будто ее специально спрятали. Май осторожно раздвинула связку, сняла потемневший шнурок и положила находку на белую бумагу.

Сначала почувствовала запах. Старая тушь пахла не резкостью, а сухой глубиной: коробкой с письмами, которую много лет не открывали, школьными кабинетами, мокрой бумагой, пальцами, испачканными черным у края ногтя. Май наклонилась ближе.

На лицевой стороне почти стерлось имя. Остались первые штрихи, будто человек остановил кисть в последнюю секунду. Ни просьбы, ни даты, ни адресата. Только обрывок имени и несколько линий, не складывающихся в понятную фразу. Но рука, написавшая их, была уверенной для случайного посетителя.

Май нахмурилась.

— Настоятель говорил, что все таблички из этого ящика связаны с последними годами перед закрытием старого школьного корпуса, — сказала она, хотя рядом никого не было.

— Это ты сейчас со мной или с табличкой?

Рэн стоял у ступеней с планшетом под мышкой и бумажным пакетом в руке. Вчерашней ночи будто не существовало: светлая куртка, волосы после ветра, привычная легкость в голосе. Только глаза задержались на ее лице чуть дольше обычного.

Май выпрямилась.

— С табличкой. Она хотя бы не задает лишних вопросов.

— Жаль. Я принес кофе именно за право задать один лишний.

Он поставил пакет на край стола. Май не поблагодарила, но подвинула его подальше от старого дерева, чтобы случайная капля не попала на эма. Рэн заметил. Конечно, заметил.

— Что нашла?

— Пока не знаю. Почерк странный.

Он подошел ближе, но не взял табличку, как сделал бы в первый день. Остановился рядом и дождался, пока Май сама развернет эма к нему. Это маленькое промедление почему-то оказалось важнее извинений.

Рэн склонился над надписью. Легкость ушла с его лица так быстро, что Май невольно посмотрела не на табличку, а на него. Он не касался дерева — только поднял руку и провел

пальцем над линией, повторяя изгиб штриха в воздухе. Между его пальцем и старой тушью оставался тонкий просвет.

— Ты знаешь, кто это писал? — спросила Май.

Рэн не ответил сразу. Его палец завис над обрывком имени, потом медленно прошел вдоль почти исчезнувшей вертикали.

— Так пишут люди, которые боятся перечеркнуть лишнее.

Фраза прозвучала тихо. Не как шутка и не как красивая подпись к кадру. Май почувствовала знакомое профессиональное раздражение: точное наблюдение всегда мешало прятаться.

— Это диагноз по двум линиям?

— По паузе между ними.

Он выпрямился, но взгляд не отвел.

— У тебя есть старые альбомы манги Кисараги Хару?

Май перебрала в памяти полки мастерской. Имя было знакомым. Хотя она и читала его работы, но имя было знакомо по тому, что в Касуми все, кто хоть раз уехал и прославился, становились городской собственностью.

— Тот самый мангака?

— Угу. До дебюта он жил здесь. Учился в старшей школе на холме. Потом уехал в столицу, сделал серию про девочку, которая поет на крышах, и стал легендой для всех подростков, уверенных, что достаточно страдать красиво, чтобы получился сюжет.

Май посмотрела на табличку.

— Думаешь, это его почерк?

Рэн открыл планшет, быстро пролистал сохраненные изображения. На экране появились сканы старых страниц: подпись автора, заметки на полях, черновой разворот. Май не разобралась в манге, но сходство увидела сразу: те же осторожные вертикали, тот же недописанный воздух в конце линий.

— Не думаю, — сказал Рэн. — Узнаю.

Ветер прошел по навесу. Таблички за спиной отозвались деревянным шепотом. Один лепесток сорвался со старой сакуры, долго кружил над столом и опустился на эма — ровно туда, где стерлось имя.

Май замерла. После первого лепестка она уже знала: случайность в этом городе чересчур часто приходила с точным расчетом.

— Не трогай.

— Я и не собирался.

Но Рэн все-таки протянул руку — не к лепестку, а к краю таблички, чтобы удержать ее от ветра. Май сделала то же самое. Их пальцы оказались по разные стороны старого дерева; между ними были выцветшая тушь, почти стертое имя и маленький розовый лепесток, вдруг ставший тяжелым, как печать.

Запах туши усилился. Он вытеснил храмовый чай, сырые доски, весеннюю пыль. Май успела вдохнуть — и стол исчез.

Рэн всегда думал, что школьные крыши в воспоминаниях выглядят красивее, чем были на самом деле.

Эта крыша красивой не была. Бетон темнел от старых луж, у ограждения ржавела сетка, на вентиляционном коробе кто-то выцарапал сердечко и два имени, уже непонятные. В углу лежала забытая метла. На веревке сушилась тряпка после уборки класса, и ветер дергал ее так, будто она хотела сбежать первой.

Но небо было широким. Чересчур широким для двух подростков, которые делали вид, что пришли сюда просто пообедать.

Мальчик сидел у стены, подогнув одну ногу. На коленях у него лежал альбом с плотной бумагой. Карандаш он держал неправильно — близко к грифелю, пачкая пальцы. Лоб прятался

под длинной челкой. Рэн сразу понял: будущий художник. Даже не по альбому, а по тому, как мальчик смотрел. Он не просто видел девочку напротив — разбирал ее на линии, свет, паузы, повороты головы и отчаянно боялся, что она это заметит.

Девочка стояла у сетки. Ветер тянул ее школьную юбку в сторону, распускал ленту у воротника, лез в волосы. Она придерживала их ладонью и напевала — тихо, почти без слов. Мелодия была простая, еще не уверенная, но в ней уже слышалось упрямство человека, который выбирает мечту раньше, чем понимает ее цену.

Мальчик сделал вид, что рисует вентиляционную трубу. Рэн невольно усмехнулся бы, если бы мог. Чересчур знакомая ложь. Самая детская из взрослых защит: я смотрю не на тебя, я просто работаю.

— Ты опять не слушаешь, — сказала девочка, обернувшись.

— Слушаю.

— Тогда что я спела?

Карандаш остановился над бумагой.

— Что-то про весну.

Она фыркнула.

— Все песни сейчас про весну. Это нечестный ответ.

— Тогда спой еще раз.

Девочка посмотрела на него так, будто знала: он не ответил специально. Потом все-таки запела, уже громче. Голос поднялся над крышей, перелетел через сетку, смешался с ветром и далеким школьным звонком. Внизу кто-то крикнул, хлопнула дверь спортзала, но здесь, наверху, звук звучал чисто.

Рэн видел черновой набросок на коленях у мальчика. На бумаге была не труба. Конечно, не труба. Девочка у сетки, волосы, поднятые ветром, рот, открытый на ноте, рука, прижимающая ленту к груди. Линии были быстрыми, немного злыми, будто художник сердился на себя за то, что не успевает поймать живое. В углу страницы — маленькая сцена школьного актового зала: микрофон, занавес, пустые кресла.

— Завтра придешь? — спросила девочка, когда песня оборвалась.

Мальчик резко опустил взгляд.

— Куда?

— Очень смешно. На прослушивание.

— У тебя же не концерт.

— Для меня — концерт.

Она сказала это с такой серьезностью, что ветер словно притих. Рэн почувствовал, как в нем неприятно дернулось что-то старое. Не память еще — место, где память когда-нибудь прорвет шов.

Мальчик потер край страницы большим пальцем. На бумаге осталось серое пятно.

— Ты и без меня справишься.

— Я знаю.

Она подошла ближе. Теперь между ними было всего два шага и длинная тень от сетки.

— Я не потому прошу.

Мальчик поднял голову. Девочка улыбнулась — быстро, смущенно, будто сама испугалась своей просьбы.

— Когда ты сидишь в зале, я меньше боюсь.

После такой фразы нормальный человек должен был сказать: приду. Мальчик молчал.

Рэн смотрел на него и злился так, будто подросток мог услышать его через годы. Скажи. Просто скажи. Не надо делать из тишины благородство. Не надо заранее решать, что твое присутствие испортит чужую высоту.

— Я приду, — наконец сказал мальчик.

Девочка просияла не полностью — только глазами. Она сразу отвернулась к сетке, словно свет в ней был чересчур заметен.

— Тогда я спою лучше.

— Ты и так...

Он не договорил. Чересчур много встало за простым «хорошо». Мальчик снова уткнулся в альбом и начал рисовать быстрее.

Видение дернулось.

Крыша осталась той же, но свет изменился. На бетоне лежал оранжевый вечер. Девочка стояла у двери на лестницу в белой блузке не по форме — нарядной, выглаженной, взрослой для школьного коридора. В руке она держала лист с номером выступления. Волосы были собраны, и от этого лицо казалось открытым, почти беззащитным.

Мальчик стоял напротив, прижимая альбом к груди, как щит.

— Ты опоздаешь, — сказала она.

— Не опоздаю.

— Тогда пошли.

Она протянула ему руку. Просто так, не настойчиво: мостик через две секунды неловкости.

Мальчик посмотрел на эту руку и не взял.

— Мне нужно сначала...

— Что?

Он отвел глаза. Внизу гудел школьный коридор: шаги, голоса, настройка микрофона. Кто-то звал участников прослушивания. Девочка все еще ждала.

— Если я приду, ты...

Фраза оборвалась. Он замолчал не от этого. Просто видение внезапно провалилось в белый шум.

На мгновение Рэн увидел актовый зал. Пустое кресло в третьем ряду. Девочку на сцене, которая перед первой нотой посмотрела именно туда. Ее пальцы сжались на микрофоне. Потом она улыбнулась залу так, будто ничего не случилось, и запела. Место в третьем ряду осталось пустым до конца.

Запах старой туши вернулся рывком. Рэн открыл глаза и понял, что сидит на полу под храмовым навесом. Планшет лежал рядом экраном вверх. На нем каким-то образом появился новый слой: быстрый, неровный набросок школьной крыши. Сетка. Девочка у ветра. Мальчик, который делает вид, что рисует. Он не помнил, как провел эти линии.

Май стояла на коленях напротив, одной рукой держась за край стола. Лицо у нее было бледное, собранное, а глаза — внимательные. Не испуганные. Хуже: чересчур внимательные.

— Ты видел? — спросила она.

Рэн кивнул. Голос нашелся не сразу.

— Крышу. Девочку. Прослушивание.

— И пустое место в зале?

Он снова кивнул.

Под навесом стало тесно: много воздуха, мало дыхания. Рэн потянулся к планшету, увидел черновой набросок и быстро закрыл приложение. Не помогло. Девочка все равно осталась под веками — не плачущая. Хуже. Поющая так, будто пустое кресло ничего не значит.

Май осторожно поднялась. Не стала сразу спрашивать. Не сказала, что это всего лишь чужая история. В ее молчании было что-то опасное: оно оставляло ему место, а место требовало честности.

Рэн нажал кнопку блокировки, но экран не погас с первого раза. Пальцы не слушались.

— Надо выяснить, где учился Кисараги, — сказал он деловым голосом. — Если это его эма, в школьном архиве должны остаться записи о кружках, конкурсах, может быть, о музыкальном прослушивании. Девочку тоже можно найти. По голосу, конечно, не найдешь, но...

Он говорил быстрее, чем нужно. Слова выстраивались, как панели вебтуна, которыми можно закрыть пустое место в третьем ряду.

— Рэн.

Он резко захлопнул планшет. Звук отозвался по столу, по табличкам, по тонкому утреннему воздуху. Несколько эма качнулись на веревке. Лепесток на старой табличке дрогнул, но не слетел.

Рэн сам вздрогнул от этого звука. Потом улыбнулся — поздно, криво и неудачно.

— Извини. Драматичный реквизит сам решил усилить сцену.

Май не улыбнулась. Она подняла табличку двумя пальцами, аккуратно, как поврежденную чашку, переложила ее в защитную папку, закрыла клапан и провела ладонью по краю. Только после этого снова посмотрела на него.

— Ты не просто узнал почерк.

— Я же сказал, Кисараги известен. У него очень характерная линия.

— Я не про табличку.

Рэн отвел взгляд к старой сакуре. Дерево стояло за низкой оградой, его больные ветви подпирали временные деревянные опоры. После слов отца Май он тоже видел его иначе: не как легенду и не как романтический объект, а как живую тяжесть, которую город боялся уронить на кого-нибудь.

— Хорошая сцена, — сказал он. — Рабочая. Крыша, ветер, пустое кресло. Читатели такое любят.

Май медленно сняла перчатки.

— Не прячься за читателей.

Он тихо усмехнулся.

— Это уже нарушение условий сотрудничества? Там было что-то про отсутствие романтических кадров, но про читателей, кажется, ничего.

— Ты тоже куда-то не пришел?

Вопрос прозвучал негромко. Рэн посмотрел на нее. Май не давила. В этом и была проблема. Если бы требовала, обвиняла, раздражалась, он смог бы ответить легко: повернуть все в шутку, сказать, что у каждого художника есть десяток мест, куда он не пришел, — дедлайны, встречи, взрослая жизнь. Но она спросила так, будто видела не признание, а шов.

Рэн взял планшет со стола. Пальцы крепко легли на крышку.

— Я обычно прихожу туда, где меня не ждут.

Пауза вышла неловкой. Не красивой, не дорамной, не такой, которую можно поставить в конец главы с мягким затемнением. В ней было много лишнего: стук бамбукового желоба, далекое урчание трамвая внизу, запах кофе из бумажного пакета, который так никто и не открыл. Май заметила, что Рэн смотрит не на нее, а на собственные руки.

— Это не ответ.

— Зато честнее, чем большинство ответов.

Она могла бы отступить. Еще вчера отступила бы. Чужая боль была чужой территорией, а Май умела уважать границы, особенно когда сама строила их из бетона. Но после ночи в мастерской, после дрожащих рук над трещиной, после собственной фразы «не рисуй меня такой» она хорошо знала, как выглядит человек, который защищает не тайну, а место удара.

Рэн поднялся.

— Я схожу в школьный архив. Там может быть список выпускников. Или старые афиши. У мангаки наверняка брали интервью о первой любви к искусству и прочую удобную ложь.

— Рэн.

Он остановился у ступеней. Май взяла бумажный пакет с кофе и протянула ему стакан. Не как утешение и не как прощение. Просто чтобы его рука занялась чем-то, кроме бегства.

— Ты принес это мне?

— Нам, — ответил он после короткой задержки.

Она оставила один стакан себе. Кофе успел остыть; горечь стала резче. Май сделала глоток и поморщилась.

— Ужасный.

Рэн посмотрел на нее с осторожным недоверием.

— Это сорт с нотами жареного каштана и весенней меланхолии.

— На вкус как забытое обещание.

Он почти улыбнулся. Почти — уже было сдвигом.

Май положила защитную папку с эма в сумку, рядом с блокнотом и перчатками. Табличка пахла старой тушью даже через бумагу. Второй лепесток не ушел. Он только открыл дверь — на школьную крышу, к девочке с голосом, к мальчику с альбомом, к пустому месту в зале и к тому, о чем Рэн пока не собирался говорить.

У ступеней храма ветер снова поднял лепестки. Один прилип к закрытому планшету Рэна. Он заметил не сразу, а когда заметил, не стряхнул — только провел пальцем рядом, над самой розовой кромкой, не касаясь.

Май сделала вид, что смотрит на дорогу. Но впервые ей стало важно не то, куда они пойдут дальше, а какое место в прошлом Рэн обходит так осторожно, будто боится перечеркнуть лишнее.

Глава 8. Первый поворот чувств

Дом мангаки стоял на узкой улице за старым рынком, где вывески выпвели от соли, а ставни пахли дождём и сушёной рыбой. Май сначала решила, что они ошиблись адресом: чересчур тихое место для человека, чьи страницы когда-то раскупали в вокзальных киосках быстрее, чем продавцы успевали выкладывать новые номера.

На калитке висел маленький керамический колокольчик. Не храмовый, не праздничный — простой, с трещиной по боку. Когда Рэн поднял руку, чтобы позвонить, колокольчик качнулся сам, хотя ветра почти не было. Май заметила, как его пальцы задержались в воздухе.

— Не начинай, — сказала она.

— Я ещё ничего не сказал.

— У тебя лицо человека, который собирается сказать: «Это знак».

Рэн опустил руку и коротко улыбнулся.

— Я хотел сказать, что колокольчик плохо закреплён.

— Конечно.

Он всё-таки позвонил. Звук вышел коротким, будто кто-то осторожно провёл ногтем по краю чашки.

Дверь открыла женщина в сером кардигане. Ей было за семьдесят, но держалась она прямо, без старческой мягкости. Волосы убраны на затылке, на переносице — очки с тонкой цепочкой. Она посмотрела на Май, потом на Рэна, задержалась на его планшете под мышкой и устало вздохнула.

— Опять журналисты?

— Нет. — Май поклонилась. — Мы из храма Юки. Меня зовут Май Сиракава. Это Рэн Амаги. Мы ищем старую табличку эма, связанную с вашим мужем.

Женщина не удивилась, это испугало Май сильнее, чем захлопнутая дверь.

— Значит, дерево всё-таки добралось до его ящика, — сказала вдова.

Рэн рядом замер.

— Вы знаете о сакуре?

— В Касуми все знают о сакуре, молодой человек. Просто не все признаются, что однажды её слышали.

Онапустила их в дом. Внутри пахло пылью, бумагой и старым деревом, чересчур долго простоявшим под влажными веснами. В прихожей аккуратно лежали мужские тапочки, хотя хозяина давно не было. Май невольно заметила это и сразу отвела взгляд.

Комната оказалась почти пустой: низкий стол, шкаф с книгами, проигрыватель у стены. На крышке проигрывателя лежала кружевная салфетка, серая от времени, рядом лежала стопка пластинок в тонких бумажных конвертах. На одном, пожелтевшем по краям, чернело имя певицы, которую они видели в лепестке.

Рэн увидел первым. Май поняла это по тому, как он перестал дышать.

— Это она? — спросила она тихо.

Вдова подошла к проигрывателю и провела пальцами по конверту.

— Сая. Тогда она ещё не была известной. Пела в школьном клубе, потом в маленьком зале у вокзала. Мой муж говорил, что у неё голос похож на утро после дождя. Я думала, красивая фраза. У художников их всегда много.

Рэн промолчал. Май хотела достать блокнот, но рука не поднялась: в этом доме всё было чересчур живым для записей.

Вдова открыла нижний ящик шкафа. Дерево скрипнуло, словно не хотело отдавать спрятанное. Внутри стояла плоская коробка, перевязанная потемневшей лентой. Женщина поставила её на стол.

— После его смерти я разбирала бумаги. Думала, там черновики, счета, письма редакторов. А там оказалась она.

Лента не поддалась сразу. Узел затянулся за годы так крепко, будто его завязывали не руками, а молчанием. Май осторожно помогла; их пальцы с вдовой на миг встретились на шершавой ткани.

Крышка поднялась. Внутри лежали рисунки — десятки, может быть, сотни. Девочка у школьного окна. Девушка с микрофоном в пустом актовом зале. Сая у вокзального автомата с напитками. Сая на афише, наполовину сорванной со стены. Сая со спины, уже взрослая, в пальто, уезжающая в столицу. Сая на сцене — не точная, не портретная, а такая, какой её мог помнить человек, всю жизнь дорисовывавший один пропущенный вечер.

— Он их не отправил? — спросила Май.

— Нет.

Рэн медленно взял один лист. На нём Сая стояла у рояля — не пела, только держала руку над клавишами, будто боялась нажать первую ноту. Бумага была тонкой, край чуть надорван.

— Он был на её концертах? — Голос Рэна прозвучал ровно, но Май услышала усилие.

— На многих. Сидел в последнем ряду. Уходил до поклона.

— Почему?

Вдова посмотрела на него без упрёка, и от этого стало тяжелее.

— Вы правда думаете, что я знаю? Человек может прожить рядом с тобой сорок лет и всё равно оставить в доме комнату, куда не даёт ключа.

Май перевела взгляд на проигрыватель, на пластинку с именем Саи, на коробку, где чужая молодость лежала аккуратными листами.

— Вам больно это хранить? — спросила она и сама удивилась вопросу. Чересчур прямой. Почти грубый.

Вдова усмехнулась без улыбки.

— Сначала было больно. Потом обидно. Потом смешно. Потом снова больно. А потом я устала выбирать название.

Она выровняла угол верхнего рисунка.

— Я знала, что он любил её. Просто не знала, что всю жизнь.

За стеной кто-то прошёл по улице, колёса велосипеда щёлкнули по неровной плитке, издали донёсся голос продавца жареных каштанов. Город продолжал жить так, будто в старом доме не открыли целую жизнь, сложенную в коробку.

Май повернулась к Рэну. Он смотрел не на вдову и не на рисунки, а на свои руки. Большой палец медленно тёр край листа, хотя обычно он берёт бумагу почти суеверно. Лицо у него стало чужим: без шутки, без быстрых линий, без привычной лёгкости, которой он закрывал пустые места.

Май вспомнила его слова после видения: «Я обычно прихожу туда, где меня не ждут». Тогда это звучало как очередной уход в сторону. Сейчас — как признание, которое он сам не заметил.

Вдова сняла салфетку с проигрывателя. Пыль поднялась тонким серым облаком.

— У него была одна пластинка, которую он ставил каждую весну. Я делала вид, что не слышу.

Сначала зашуршала игла. Потом из динамика поднялся женский голос — не сильный, не безупречный, но живой. Сая пела так, будто каждую ноту близко держала у губ и боялась отпустить.

Май слушала и думала, что молчание не исчезает. Оно меняет форму: становится коробкой с рисунками, пластинкой под салфеткой, вдовой усталостью, чужим взглядом, который не поднимается от рук.

Рэн положил рисунок обратно.

— Можно? — спросил он.

— Что именно?

— Найти ту фразу, которую он не сказал.

Вдова долго смотрела на него, потом кивнула в сторону коробки.

— Думаю, она там. Он прятал важное на оборотах. Считал, что лицо должно смотреть наружу, а правда — внутрь.

Рэн осторожно перевернул первый лист. Потом второй. На оборотах были даты, короткие заметки, наброски кадров: «Сая у окна», «Сая перед прослушиванием», «Не пришёл», «Не имею права». На пятом листе Май увидела приклеенный лепесток. Сухой, почти прозрачный, он всё ещё держал в центре слабый розовый свет.

Рэн не сразу взял рисунок. Сначала посмотрел на Май — будто спрашивал разрешения у неё, а не у вдовы. Май кивнула.

На лицевой стороне Сая стояла на маленькой сцене. Позади — пустоватый зал, сбоку — рояль, над ней — круглое пятно света. В первом ряду было нарисовано одно свободное место.

Рэн перевернул бумагу. Почерк оказался неровным, словно человек писал поздно ночью или чересчур долго не решался начать. Игла на пластинке щёлкнула, голос Саи на мгновение дрогнул.

— Я не пришёл не потому, что забыл, — прочитал Рэн и остановился.

Май посмотрела на него, но не сказала ни слова. Вдова стояла у окна, сцепив пальцы перед собой. На стекле отражалась её фигура — прямая, почти прозрачная рядом с белым пятном весеннего света.

Рэн сглотнул и продолжил:

— Я испугался, что твоя мечта станет меньше рядом со мной.

Последнее слово он произнёс почти шёпотом. Лепесток на обороте листа рассыпался светом — не ярко, без чуда, которому захотелось бы подобрать красивое объяснение. Просто воздух в комнате стал теплее, как бывает, когда открывают окно в первый по-настоящему весенний день.

Проигрыватель на секунду перестал шуршать. Май увидела не видение целиком, а фрагмент: школьная крыша, ветер, мальчик с чёрными от туши пальцами стоит у двери актового зала и не входит. За дверью поёт девочка. В руках у него не букет, а листы с рисунками, пережатые резинкой. Он слышит аплодисменты, делает шаг — и останавливается.

«Если я войду, ты оглянешься».

Фраза не прозвучала голосом. Она прошла через Май, как холод по мокрому рукаву.

«Если ты оглянешься, я захочу, чтобы ты осталась».

Листы в его руках смялись, и видение оборвалось. Комната вернулась: низкий стол, коробка, вдова, Рэн, пластинка с тихим потрескиванием. Сая на записи допела последнюю строку, и игла пошла по кругу.

Вдова подошла к столу. Её лицо почти не изменилось, только уголки губ стали мягче.

— Значит, он всё-таки был там.

— У двери, — ответил Рэн.

— У двери, — повторила она. — Конечно.

В этих двух словах не было ни злости, ни прощения. Только усталое узнавание. Так, наверное, говорят о человеке, которого любили достаточно долго, чтобы перестать удивляться его слабости.

Рэн аккуратно положил лист перед ней.

— Он боялся помешать ей.

— Да. — Вдова коснулась рисунка двумя пальцами. — А в итоге помешал только себе. И, может быть, немного мне.

Май опустила взгляд. Эта фраза была не обвинением, и потому звучала сильнее.

Вдова взяла рисунок Саи у рояля и поставила рядом с проигрывателем, прислонив к стене.

— Не знаю, нужно ли мне было это слышать. Но, кажется, ему нужно было, чтобы кто-то наконец сказал это вслух.

Рэн молчал. Май уже привыкла к его молчанию в последние дни, но это было другое: не пауза перед шуткой, не расчёт кадра и не вежливое ожидание. Он словно стоял у собственной двери и не мог войти.

Вдова налила им чай. Чашки были тонкие, белые, с маленькими синими рыбами по краю. Одна чуть звякнула о блюдце, когда женщина поставила её перед Рэном.

— Вы художник? — спросила она.

Он не сразу понял, что вопрос к нему.

— Да.

— Тогда не храните чересчур много в ящиках.

Рэн поднял глаза. Вдова устало улыбнулась.

— Бумага терпит. Люди — не всегда.

Он хотел ответить. Май увидела, как у него дёрнулась привычная улыбка — та самая, которой он обычно спасал себя.

— Я вообще-то цифровой художник, — начал он. — У меня вместо ящиков облачное хранилище, так что трагедия стала технологичнее.

Шутка не удержалась. Она оборвалась на середине улыбки, будто кто-то стёр слой, не дождавшись подтверждения. Рэн отвернулся к окну, и Май не спросила: «Что случилось?» Не спросила: «Куда ты не пришёл?» Не спросила: «Кого ты боялся удержать?» Вопросы лежали рядом, острые, как обломки чашки, и она впервые не стала собирать их сразу.

Они попрощались с вдовой ближе к вечеру. Женщина отдала им один рисунок — тот, с пустым местом в первом ряду.

— Для храма, — сказала она. — Пусть хотя бы теперь он досидит до конца концерта.

На улице пахло морем и нагретой за день черепицей. Солнце уходило за крыши, старые провода между домами казались тонкими линиями туши на бледном небе. Рэн нёс рисунок в плотной папке двумя руками, аккуратно, будто внутри было что-то живое.

Они шли молча до поворота, где улица спускалась к храмовой лестнице. Там ветер принёс несколько лепестков. Один прилип к папке, прямо над тем местом, где под картоном скрывался пустой ряд.

Рэн остановился.

— Знаешь, у этой истории ужасная композиция.

— Почему?

— Чересчур много людей молчит. Чересчур мало вовремя входит в кадр.

Май посмотрела на его профиль: тёмные волосы, растрёпанные ветром, губы, которые снова пытались сложиться в улыбку и не смогли.

— Иногда кадр не виноват. Иногда человек сам не входит.

Он тихо усмехнулся.

— Ты сегодня особенно утешительна.

— Я не утешаю.

— Заметно.

Май могла бы ответить резко. Могла бы напомнить, что он сам начал говорить и сам прячется за словами, которые не выдерживают собственного веса. Но вместо этого посмотрела на его руку. Пальцы у Рэна побелели на краю папки.

Она подумала о вдове, о коробке, о рисунках, пролежавших в темноте дольше, чем некоторые люди живут рядом друг с другом. О том, как легко назвать молчание благородством, если не ты потом ходишь между его последствиями.

Май сделала шаг ближе. Рэн заметил движение, но не отступил. Тогда она подняла руку и коротко коснулась его пальцев — не взяла за руку, не сжала, просто прикоснулась на одно дыхание, на ту крошечную паузу, в которой обычно успевают спрятать всё главное.

Кожа у него была холодной.

Рэн посмотрел на их руки, потом на неё.

— Это что, официальный реставрационный осмотр?

Голос подвёл его на последнем слове. Май не улыбнулась, хотя могла бы, и не убрала руку сразу.

— Нет.

— Тогда мне стоит волноваться?

— Уже поздно.

Он выдохнул — почти смехом, почти болью. Пальцы под её рукой дрогнули, но он не накрыл её ладонь своей: не позволил себе или не решился. Май сама отняла руку — медленно, без испуга, чтобы это не выглядело ошибкой.

Они снова пошли к храму. Между ними оставалось прежнее расстояние, но оно уже не было пустым. В нём лежало короткое касание, не объяснённое и не отменённое. Май чувствовала его на кончиках пальцев, будто коснулась не руки, а тонкого золотого шва, который ещё не высох.

У подножия лестницы Рэн остановился и посмотрел вверх. Старая сакура храма Юки стояла над городом в вечернем свете. Май привыкла видеть её усталой: чёрные узлы ветвей, подпорки у ствола, трещины коры, сухие участки, которые отец показывал на снимках с беспощадной точностью.

Но сейчас дерево цвело ярче. Не просто казалось таким в закате — Май знала разницу между светом и цветом, между отражением и живой тканью. Цветы на верхних ветвях раскрылись плотнее, розовее, словно за день сакура набрала силу там, где её уже списали.

Она вспомнила голос отца: «Дерево не становится менее опасным оттого, что его любят». И всё же оно цвело.

Рэн тоже смотрел на ветви. На его лице уже не было разбитой пустоты, только осторожное недоверие человека, который боится назвать надежду надеждой.

— Твой отец говорил, что она умирает.

— Говорил.

— А это?

Один лепесток сорвался и полетел вниз, но не упал сразу: тёплый поток воздуха закружил его между ними и опустил на ступеньку. Май нагнулась, подняла его. Лепесток был настоящий — мягкий, прохладный, с тонкой прожилкой посередине.

— Это не отменяет диагноз.

Рэн посмотрел на неё краем глаза.

— Ты сейчас звучишь как человек, который очень старается не поверить в чудо.

— Я звучала бы иначе, если бы ты не называл каждую ботаническую аномалию чудом.

— Справедливо.

Он помолчал.

— Май.

Она не сразу повернулась. Почему-то показалось: если он сейчас скажет что-то важное, вечер быстро изменится.

— Что?

Рэн смотрел не на сакуру. На неё.

— Спасибо.

Слово вышло неловким, простым после чужой фразы, рисунков и касания. Поэтому Май не стала его исправлять.

— За что?

Он опустил взгляд на папку.

— За то, что не спросила.

Май сжала осторожно лепесток между пальцами.

— Когда захочешь сказать, скажешь.

— А если не захочу?

Она посмотрела на цветущую сакуру, на ветви, которые не должны были цвести так ярко, на лестницу к храму, где уже ждали таблички, чужие фразы и следующие раны.

— Тогда это останется твоим ящиком. Но я не буду делать вид, что его нет.

Рэн долго молчал, потом кивнул.

Они поднялись по лестнице рядом, не касаясь друг друга. Но на третьей ступеньке Рэн чуть сдвинулся ближе, чтобы Май не задела плечом мокрый от росы каменный фонарь. Маленький жест, почти случайный. Май заметила. И впервые не сделала вид, что нет.

Акт II. Чужие признания

Глава 9. Правило совместного расследования

Карта Касуми не помещалась на стене. Май поняла это только на третьей кнопке, когда угол тонкой бумаги снова отлип и, мягко шурша, съехал вниз. На карте город казался послушным: храм Юки — маленький квадрат на холме, мастерская бабушки — светлая точка в переулке за чайной лавкой, вокзал — широкий прямоугольник у нижнего края, школа, старое депо, мост с фонарями, набережная. Всё было подписано, пронумеровано, приведено к масштабу, но в жизни Касуми всё равно выходил за края.

Май прижала карту ладонью и потянулась за новой кнопкой. Бумага была прохладной, чуть влажной от утреннего воздуха. Окно мастерской она открыла рано, чтобы выветрить запах клея и пыли, но вместо этого в комнату вошли цветущая сакура, сырая древесина и лапша из лавки напротив. Где-то в переулке мальчишка ударил мячом о металлическую ставню; звук вышел резким, почти сердитым.

На столе лежали таблички эма, две чашки, блокнот Май, коробка с цветными карандашами Рэна и семь пустых карточек, вырезанных из плотной бумаги. На первой она написала: «Зонт. Хана. Такэо. Школа. Лавка моти». На второй: «Мангака. Певича. Школьная крыша. Наброски. Страх уменьшить чужую мечту». Остальные пять карточек ждали, и Май не нравилась их белизна: пустые места всегда выглядели как приглашение к ошибке.

Она взяла красную нить, протянула от храма к школе и закрепила на карте. Потом от школы — к лавке Такэо. Рядом приколотла крошечный бумажный лепесток с цифрой один. Вторую нить пустила к старому дому мангаки, от него — к школьной крыше, потом к мастерской, где вчера они разложили коробку с рисунками. Пальцы двигались ровно, дыхание тоже: если разложить всё правильно, странное переставало быть странным. Оно становилось цепочкой: предмет — видение — имя — адресат — фраза — действие. С такой последовательностью можно было работать даже с сакурой, голосами из прошлого и тем, что вчера Рэн сбился на слове «рядом», а она коснулась его пальцев и не отдернула руку сразу.

Май поставила точку карандашом рядом с храмом, стёрла её и поставила снова.

— Ты выглядишь так, будто собираешься арестовать легенду, — сказал Рэн от двери.

Май не обернулась.

— Легенда не пришла по повестке. Пришлось начать с карты.

Он вошёл, неся два стакана холодного кофе и пакет с булочками. Волосы у него были слегка влажные, будто он шёл под лепестками вместо дождя. На рукаве толстовки прилип один розовый лепесток. Рэн заметил её взгляд, снял лепесток и, не спрашивая, прилепил к краю карты рядом с храмом.

— Так нагляднее.

— Так неточно.

— Зато честно. Всё началось не с улицы и не с таблички, а с того, что оно к тебе прилипло.

Май посмотрела на лепесток. Он держался плохо, уголок уже поднимался.

— Нельзя строить систему на прилипшем лепестке.

— А на чём можно? На твоём упрямстве?

Она сняла лепесток с карты и положила на стол. Рэн ничего не сказал: поставил кофе рядом с её блокнотом и начал рыться в сумке. Через минуту на столе появились стикеры — красные, жёлтые, синие, в форме стрелок, кружков, маленьких восклицательных знаков и кошачьих морд. Май зажмурилась на полсекунды.

— Нет.

— Ты ещё не знаешь, что я предлагаю.

— По стикерам уже знаю.

— Красный — предмет памяти. Жёлтый — адресат. Синий — место видения. Кошачья морда — когда кто-то очевидно врал себе и окружающим.

— На этой карте не будет кошачьих морд.

— Тогда нам придётся не отмечать половину твоих реплик.

Май взяла один красный стикер, посмотрела на него, потом на Рэна. Он улыбался, но не чересчур широко. После вчерашнего он вообще стал осторожнее улыбаться, и это мешало больше, чем прежняя лёгкость.

— Красные оставь. Остальное убери.

— Компромисс. Запишем как первый пункт правил совместного расследования.

— У нас уже есть правила.

— Твои правила. Это разные жанры.

Он подошёл к карте и приклеил красный стикер возле лавки Такэо. Нарисовал на нём маленький зонт. Второй стикер появился у школьной крыши, с крошечной кистью. Май следила за его рукой: линии у Рэна выходили быстрыми, уверенными, будто он не рисовал, а вспоминал. Зонт в три штриха стал зонтом, кисть — кистью. Никакой лишней красоты, только знак, который невозможно перепутать.

— Чересчур заметно, — сказала она.

— В этом смысл метки.

— Она тянет внимание на себя.

— Потому что предмет важен.

— Предмет важен не потому, что ты нарисовал его симпатичным.

Рэн наклонил голову.

— Я нарисовал его узнаваемым.

Май сняла стикер с зонтом. Рэн посмотрел на пустое место на карте, но не вмешался. Под потолком потрескивала старая балка; с улицы донёсся скрип тележки у лавки. Май подержала стикер между пальцами. Бумага была тёплой от его руки, маленький зонт выглядел почти глупо, но без него лавка Такэо снова стала просто лавкой.

Она вернула стикер на место и прижала ногтем уголок.

— Не делай из этого выводов.

Рэн поднял оба стакана с кофе, один протянул ей.

— Конечно. Я просто зафиксирую: легенда частично арестована, карта признала визуальные доказательства, а следователь Сиракава допустила котиков к рассмотрению в апелляции.

— Котиков не допустила.

— Пока.

Май взяла кофе и отвернулась к карте, чтобы он не увидел, что она почти улыбнулась. Пять пустых карточек лежали ниже, ровные, белые. Она провела пальцем по третьей.

— Две фразы вернулись через людей, которые боялись помешать другому сделать шаг. Первая — через страх начать. Вторая — через страх стать препятствием.

Рэн поставил свой стакан на подоконник.

— Значит, третья направит туда, куда мы заранее не посмотрели.

— Это не обязательно.

— Сакура пока не производит впечатление деликатного собеседника.

— Она показывает фрагменты, — поправила Май. — Не выводы.

— А выводы делаешь ты.

— Кто-то должен.

Он посмотрел на карту, взял синий стикер и приклеил его рядом со старой линией трамвая, тонкой серой петлёй обходившей центр города.

— На всякий случай.

— Почему туда?

— Там красиво.

Май медленно повернула к нему голову. Рэн поднял ладони.

— И потому что в таких историях люди часто не говорят важное в транспорте. Сидят рядом, смотрят в окно, выходят на своей остановке и всю жизнь делают вид, что это был просто маршрут.

Май хотела ответить, что расследование не строится на жанровых привычках. Но посмотрела на серую линию, на остановки, отмеченные крошечными кружками, и почему-то не сняла стикер.

После обеда свет в мастерской изменился. Утренний холод ушёл, на полу появились тёплые прямоугольники солнца; пыль плавала в них медленно, будто мастерская дышала не вместе с улицей, а сама по себе. Рэн сидел за рабочим столом бабушки Май и держал планшет обеими руками. Обычно планшет был для него продолжением пальцев: он легко поворачивал экран, увеличивал кадры, рисовал на ходу, стирал и снова рисовал. Сейчас он держал его почти официально, как документ, который могут не подписать.

Май стояла напротив. Не садилась. Рэн уже понял: если она не садится, разговор будет неприятным.

— Я сделал черновик первой серии, — сказал он. — Не для публикации. Пока только структура.

Слово «пока» прозвучало громче, чем следовало.

Май перевела взгляд с планшета на него.

— Ты решил показать мне до того, как я сама это найду?

— Я обучаемый.

— Посмотрим.

Он протянул планшет. На первом кадре была не сакура, а вокзал: мокрая платформа, чемодан, розовые лепестки на тёмном пальто. Девушка стояла спиной, но Рэн знал, что Май узнает себя. Он изменил длину волос, форму пальто, убрал папку с документами, но оставил позу — чересчур прямую спину человека, который приехал не возвращаться, а закрывать.

Май молчала и листала дальше. Храм. Таблички эма. Два силуэта у старого дерева. Лепесток между пальцами. Школьные ворота и девочка с зонтом, лицо почти полностью в тени. Мальчик рядом смотрел не на неё, а на дождь.

Она ни разу не сказала, что линия хорошая. Не спросила, сколько времени он потратил. Не указала на неточности в форме школьной крыши, хотя Рэн видел: заметила. Её молчание было тяжелее правок.

Он смотрел на её руки. Большой палец останавливался на каждом кадре чуть дольше, чем нужно для чтения. На сцене с Такэо она задержалась особенно долго: там старик ставил на стол две чашки чая, а второй стул оставался пустым.

— Это чересчур узнаваемо? — спросил Рэн.

Май не ответила сразу. Долистала до последнего кадра, где лепестки летели над лавкой моти, и только тогда выключила экран.

Рэну стало неприятно тихо. Он привык к тишине, когда рисовал, но не к такой, где кто-то решает, можно ли доверить ему чужую боль.

— Я не собираюсь ставить имена. Город не будет назван. Лица изменены. Возраст, детали, последовательность — тоже. Я могу убрать лавку. Сделать не моти, а чайный домик. Могу вообще оставить только зонт и чашки.

— Зачем? — спросила Май.

— Чтобы никто не узнал.

— Тогда никто и не почувствует.

Он моргнул.

Май положила планшет на стол так аккуратно, будто это была чашка с тонкой трещиной.

— Ты хочешь разрешения использовать реальные истории.

— Да.

— Не «эмоции». Не «материал». Истории.

Рэн кивнул. Шутка просилась сама: что-то про контракт с призраками сакуры и авторские права у лепестков. Он удержал её; впервые за день это не стоило усилия.

— Я хочу, чтобы их слышали. Не только те, кому мы успели вернуть фразу.

— А если это станет красивым продуктом?

Слово ударило точно. Рэн почувствовал, как внутри поднялась обычная защита: сказать, что любой труд становится продуктом, если за него платят; что Май тоже реставрирует не бесплатно; что красота не преступление. Всё это было правдой и всё не годилось.

— Тогда ты остановишь меня.

— Я не редактор твоей совести.

— Нет. Ты хуже. Ты человек, который видит, где я вру линией.

Май посмотрела внимательнее. Ему показалось, она почти смягчилась, но тут же собрала лицо обратно.

— Каждую серию сначала показываешь мне.

— Хорошо.

— Если адресат жив, меняешь достаточно деталей, чтобы его нельзя было найти.

— Хорошо.

— Не делаешь из чужой ошибки милую мораль.

Рэн выдохнул через нос.

— Это сложнее.

— Я не обещала тебе удобную работу.

— Я заметил примерно на третьей минуте нашего знакомства.

Она не улыбнулась, но пальцы на краю планшета расслабились.

— И ещё.

Рэн выпрямился, сам не заметив.

Май посмотрела на выключенный экран, где отражались окно мастерской, карта на стене и их силуэты — рядом, но не вплотную.

— Измени имена. Не меняй боль.

Рэн кивнул не быстро и не для того, чтобы закончить разговор. Так принимают условие, которое потом нельзя будет сделать вид, что не расслышал.

— Понял.

Май вернула ему планшет. Их пальцы не коснулись, и Рэн почему-то заметил именно это.

К вечеру мастерская стала похожа не на место, где разбирают прошлое, а на место, где его собирают заново и спорят, какой стороной прикладывать осколок. Май сидела за столом с распечаткой сценария. Рэн распечатал его сам, хотя уверял, что «бумага — это насилие над цифровой эпохой». Теперь листы лежали перед ней, испещрённые его пометками, стрелками, кадрами на полях и короткими репликами.

Она читала молча, с карандашом в руке. Рэн ходил по мастерской, делал вид, что разглядывает карту, но ждал — это было видно по тому, как он чересчур часто поправлял стикер с зонтом, который и так держался крепко.

Май дошла до страницы, где девочка из первой истории стояла под дождём у школьных ворот. В сценарии она должна была сказать: «Я всю жизнь ждала, что ты поймёшь моё сердце без слов». Май взяла карандаш и зачеркнула реплику одной прямой линией.

Рэн остановился.

— Больно.

— Ей или тебе?

— Бумаге.

— Бумага переживёт.

Он подошёл ближе, опёрся ладонью о край стола.

— Что не так?

— Всё.

— Отличное редакторское заключение. Ёмкое, убийственное. Можно на обложку.

Май подняла на него глаза.

— Она не сказала бы так.

— Ты её знала сорок лет назад?

— Я видела, как она держала зонт.

Рэн замолчал.

Май постучала карандашом по зачёркнутой строке.

— Это не её фраза. Это твоя попытка объяснить читателю, что она чувствовала.

— Иногда читателю нужно помочь.

— Нет. Иногда автору нужно не мешать.

Рэн сел напротив. Чересчур близко для обычного рабочего обсуждения, но она не отодвинулась. Между ними лежали распечатка, планшет, карандаш и тонкая полоска вечернего света.

— История должна быть красивой, — сказал он. — Иначе её закроют на втором экране.

— История должна быть честной.

— Честное тоже может быть красивым.

— Может. Но не обязано выглядеть так, будто его отполировали для удобства.

Он провёл рукой по волосам, на этот раз без театральности.

— Ты думаешь, я украшаю, чтобы продать.

— Я думаю, ты украшаешь, чтобы не смотреть прямо.

Рэн усмехнулся, но улыбка не дошла до глаз.

— А ты зачеркиваешь, чтобы не чувствовать.

Карандаш в руке Май застыл. В мастерской звякнула чашка: где-то на полке от сквозняка едва сдвинулось блюдце. Звук был маленький, но оба услышали.

Май могла бы встать, сказать, что рабочий день окончен, вернуть ему сценарий с холодным списком правок. Это было бы проще. Вместо этого она посмотрела на зачёркнутую строку.

— Возможно.

Рэн тоже опустил глаза. На несколько секунд спор потерял острые края. Осталась только бумага между ними и чужая девочка под дождём, которую оба пытались защитить разными способами.

— Тогда как? — спросил он тише.

Май подвинула к нему лист.

— Не заставляй её объяснять любовь. Пусть делает то, что делала.

— Уходит?

— Стоит под зонтом. Делает вид, что дождь не мешает. Ждёт, что он сам догадается, и злитесь на себя за это.

Рэн взял стилус, открыл новый слой на планшете и не стал спорить. На экране появились школьные ворота, дождь, девочка с зонтом. Она держала ручку так крепко, что пальцы побелели. Мальчик рядом протягивал руку, но не касался.

— Реплика?

Май посмотрела на рисунок.

— Не реплика. Пауза.

— В вебтуне паузы плохо переводятся.

— Значит, нарисуй так, чтобы перевелась.

Он фыркнул.

— Жестокий редактор.

— Обучаемый художник.

Рэн склонился над экраном. Май видела, как меняется линия: исчезли лишняя мягкость, удобный наклон головы, красивые капли на ресницах. Девочка стала менее милой, более упрямой и живой. Зонт закрывал половину лица, но рука говорила достаточно.

— Так?

Май наклонилась ближе. Их плечи почти соприкоснулись, и она заметила это чересчур поздно, чтобы отодвинуться естественно.

— Почти.

— Это твоё высшее одобрение?

— Нет. Моё высшее одобрение — когда я молчу и ничего не исправляю.

— Значит, сейчас исторический момент. Ты говоришь.

Она взяла карандаш и написала на полях: «Оставить дождь. Убрать красивую фразу. Усилить руку на зонте». Рэн прочитал, кивнул и набрал в сценарии новую строку: «Она хотела сказать, что дождь здесь ни при чём, но только крепче сжала ручку зонта».

Май перечитала.

— Лучше.

— Я почти услышал фанфары.

— Это был сквозняк.

Он улыбнулся. На этот раз по-настоящему, но тихо.

Работа пошла иначе. Рэн показывал кадр — Май останавливала его на лишнем жесте. Май говорила «не так» — Рэн требовал «тогда как». Он предлагал красивый ракурс, она спрашивала, что герой в этот момент скрывает. Она вычёркивала слово «навсегда», он заменял его пустой чашкой. Она требовала оставить неловкость, он находил для неё место в композиции. Постепенно спор стал ритмом: не мягким, не удобным, но совместимым.

За окном темнело. Лавка напротив закрылась, запах лапши сменился влажной древесиной. На стене мастерской карта Касуми покрылась нитями, стикерами и карандашными пометками. Две возвращённые фразы уже не выглядели отдельными историями: они тянулись друг к другу через город, через их руки, через слова, которые пришлось зачеркнуть, чтобы оставить настоящие.

Май потянулась за последним листом сценария и задела локтем красный стикер, который Рэн утром приклеил возле старой трамвайной линии. Стикер отклеился, скользнул вниз и упал на стол липкой стороной вверх. На нём Рэн успел нарисовать маленький поручень и шарф — просто так, «на всякий случай».

Май взяла его, собираясь вернуть в коробку. В этот момент из открытого окна донёсся далёкий звон трамвайного колокольчика — старого, чуть хриплого, хотя вечерний маршрут давно отменили на этой улице.

Стикер в её пальцах стал холодным.

Рэн поднял голову.

— Ты слышала?

Май посмотрела на карту. Серая трамвайная линия уходила к старому депо, делала петлю у вокзала и терялась в районе, где город был нарисован бледнее всего. Она молча вернула стикер на место и прижала крепче, чем требовалось.

Глава 10. Третья фраза: девушка из метро

Старый билет нашёлся не в архивной коробке, а между страницами тетради, куда Май накануне переписывала даты и имена. Она почти смахнула его вместе с крошками засохшей бумаги: узкая полоска картона, пожелтевшая по краям, выглядела не важнее магазинного чека. На одной стороне — выцветший номер маршрута, на другой — смазанный штамп станции. Бумага была тонкой, ломкой, с серым налётом времени, и Май взяла её пинцетом, чтобы не оставить следов пальцев. Подушечки вдруг почувствовали не холод картона, а слабое тепло — чересчур человеческое для вещи, пролежавшей столько лет без рук.

— Нашла что-то? — спросил Рэн от двери мастерской.

Он пришёл с двумя стаканами кофе и пакетом рисовых булочек. Один стакан уже стоял на краю стола, второй Рэн держал в руке так, будто ещё не решил, заслужила ли она сегодня кофе или только горячую воду. Май не ответила. Билет лежал на ладони, и на нём проступала тонкая красная нитка, которой там быть не могло. Нитка дрогнула, будто её потянули с другой стороны времени.

За окном прошёл утренний трамвай Касуми: скрип колёс, короткий звонок у поворота, металлическая дрожь в стекле. Обычный городской звук вдруг стал глубже, старше, как если бы город вдохнул сквозь ржавую решётку прошлого. Лепесток упал на билет не снаружи, а сверху, с потолка, где не было ни ветки, ни окна. Май подняла взгляд на Рэна. Он уже смотрел на её ладонь, и лёгкость сошла с его лица так быстро, словно её стерли пальцем с экрана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.